

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ
СОЛНЕЧЛИКАЯ ЯЛТА!



*Крымский роман**



Анатолий САНЖАРОВСКИЙ

г. Москва

1

Колёку избила жена.

Избила бестактно, грубо, масштабно. Би́ла ж не одна. Би́ла со всей дури на пару с новёхонькой сумасшедшей скалкой.

«Боги мои! Я призываю вас в свидетели! Ти, совсем сдурела, бабенция! Жила, жила, да и подхватишь драться. Ну черти её подучили, что ли... Пря́м шизанелли какая-то... На родного мужика скалку берёзовую задрала! А родилась жа в год овцы... Хэх, овечушка... Забьёт! Последнюю серость из башни вытряхнет эта перьехвостая тупая. И будешь головкой трясти, как вседеревенский дурасёк Витя Алибо...» — тоскливая перспектива не согрела Колёку. Он опало загоревал и неосмотрительно потерял бдительность, отчего скалка, что чаще опускалась на изворотливо подставляемую им ладонь, прочно польхнула его по спине. Охнув, Колёка стриганул в распахнутое наразмашку окно и попутно срезал с подоконнища горшок с кактусом.

Горшок кокнулся и веерно брызнул унылыми черепками. Кактус переломился. Бегущком отхлынул Колёка на безопасное расстояние. Храбро оглянулся.

Из окна воинственно помахивала вульгарная скалка. Из-за скалки хрипело:

— Уди! Уди, живорез! Чтоба не видали тебя мои горьки глазоньки! Двух девок и тебя, кобелищу, не могу я больше окормливать одна! Девки — что? У девок должность прохладная. Из миски — ложкой! На то они и детьё. Но ты-то, кобелиюка! Ты! Твоя должность — класть в миску! А что ты, котяра, положил? Дырку от бублика? А самого только пот и прошибает, как лопаешь чужое. Бабье! Урождённый брать рази может давать?

Колёка виновато насупился:

— Ти, мамэле, гонишь, стал быть?

В ответ из-за скалки боевым ядром просквозил горшок с фиалками.

Фиалки Колёка любил: «Выбросить фиалки — всё равно что выбросить меня!»

Горшок въехал в тугое тело старушки яблони и

* Журнальный вариант

осыпался на землю тихим печальным дождецом мелких осколков.

Это был конец.

Колёка норовисто дёрнул носом.

— Я уйду! — сказал он оскорблённо. — Но считаю своим долгом предупредить. Кое-кто глы-ыбоко заблудится, затей какую непотребь проть меня. И как бы кое-кого не прижгло бежать ворочать...

Колёка с достоинством приложил руку в поклоне к груди — указывал, кого именно не пришлось бы бежать ворочать.

— Три ха-ха! Мели, кот Емеля, твоя неделя!

— Хватай шире. Год! Мой нынче год! Кота!

Колёка гордо выпрямился и пошёл.

Он степенно прошествовал за угол дома. Остановился. Послушал дверь.

Нет, и за дверью не слышалось никакого движения. Никто не бежал умолять его остаться. Ну что ж, побегут! Чуюк попозжее туда! Колёка великодушен, может и снизойти, пару минут подождёт. Пока не сварится курья горячка.

Но не ждать же в открытую! Колёка выставил одну ногу и примёр, держит на весу. Это на тот боевой погорячливый случай, чтоб не застигли его откровенно ждущим. Так, в уходящей позе, цепко вслушиваясь в дом, он проторчал столбиком на месте и минуту, и две, и три.

Но за дверью шаги не спешили к нему. Ни одна холера не летела ворочать его.

Оттопыренная нога занемела. Он устал стоять на одной.

«Таковски можно и в сам деле умыться... По телу слышал... У япошика гусайа¹ вон шпацирует за своим благовериком в трёх шагах... Дистанцию держит... А эта... — Он бережно погладил зашибленную челюсть. — Так починить дорогую хлеборезку... Оха-а... Умотай на другой конец света — и ухом не поведёт... У-у!.. Гляну-погляну, распустили мы своих толстопярых гусынь! Демократия...»

Колёка ватно прикрался избоку к окну.

— Слышь... драчунелла, — тоскливо забубнил в оконный простор. — Надоел мне этот весь фиксаж-мираж... Ты побранивай за дело... Не возражаю... А побранив, посла не кори... А ты... Вторые сутки бесконечная побранка! Мне таковецкий бейсбол не нужен. Всё! Ти, лопнул мой терпец! Я обещал — я ухожу. Дело в принципе уже въехало...

— А чего эт ты докладаешься? Мужик! Мужик прозывается! У тебя хрен ма гордости даже уйти по-мужецки! И кому где ты нужный? Таких... вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут! И куда ты, телёш, побредёшь?.. Разнесчастный гулькый!² Тебя ж лень да голод у первого плетня свалят. Мужик! Где мужик? — Она заботливо огляделась вокруг. — Где? Нету мужика. Одно позорище! Уйду!.. Нагнал холоду... А всего-то в игольное ушко ураган дует... Бездольный колоброд! Подожгло уходить в одних носках... Не смей!

Колёка глянул — действительно, в одних носках.

Из окна вылетели его кривые башмаки.

Колёка галантно им поклонился. Уж теперь-то он наверняка уйдёт. Есть в чём идти.

Есть и на что идти!

Колёка будто чуял, сдавит его чёрный переплёт. Придётся отстёгиваться от дома. Это ж в крови у великих! Вон аксакал Лео Толстой тоже уходил. Хопнул дедюня бабуриков — и в божий путь! Уйдёт и Колёка. И к уходу загодя скопил, соскрёб по жениным сусекам значный столтник, вплехал под стельку на пятке окривевшего башмака.

Он мстительно поклонился скалке в окне, недобитым на подоконнике горшкам с крапивкой, с крестовиком, с огоньком, с геранью, с розой, с женихом, с невестой, с декабристом.

Игристо помахал ручкой и пошёл. На третьем шагу обернулся и крикнул торжествующе:

— Татьяна! Моё счастье без изъяна! Я ухожу! Хлестаться в десну³ не будем. Некогда! Видишь же! Ухожу!

— Но и ты, дуропегий, видишь, что я не утопаю в слезах. Нужен ты тут, фонарь бубновый, как кенгурихе авоська! Мотай на все четыре ветрушка! Носит же таковских земля... Хвостомер! Доехать до двадцати пяти и ни копы не пригнать в дом! Ни дня в работе! Такого второго дурноезда на всём земном шарушке нету. Артист Хренкин!

Колёка не знал, что б его такое горяченькое отстегнуть в ответ, и, шально гримасничая и дёргая над головой руками, в дурнопенье запрыгал на пальчиках, точно под ним была раскалённая сковорода.

Закрылось окно — и в Колёке что-то умерло.

Ему стало стыдно не стыдно, а какая-то не-

ясная неловкость придавила за больной вы́брык, и первое желание было толкнуться к окну, ласково постучать и в покорливости втиши попросить прощения.

Но он не вернулся, лишь бросил себе: мужчина идёт только вперёд! Стыд не дым, глазами хлопать можно!

И ещё суматошной пожёг беглым шагом дальше, словно за ним летел кто вдогон, а он горел поживей убраться.

2

Желобок худой тропинки выкатил его на большак.

Большак простёгивал всё поле.

Колёка промашисто шёл-бежал и, когда оглянулся, из-за державного, тяжёлого жёлтого колыханья поспевающих хлебов увидел лишь макушку своей хаты. Он побрёл медленней, как бы нехотя, не убирая глаз с дома, приседающего, печально уходящего в праздничные хлеба.

И когда совсем не стало видно дома, он остановился очумело.

«Уходить? Куда уходить? Рождённый ползать, куда ты лезешь? К кому уходить? Где меня кто ждёт? А может, всёжжи вернуться?.. Татка — человечина. С этой женьшенихой жить можно. Да и куда я, бзикнутый, без неё один? Куда я, Коля — перекасти-поле, ни ступи, одна лишь тень рядом... М-да... Подохну, как слепой кутёнок под первым же забором...»

Однако!

Вспомнилось, как выпевала Татонька.

«Да это ж убойная тягомотина! Ти, сплошные враки!.. Что добежал до двадцати пяти — это так. Правдуня твоя. Но что ни копы и разу не занашивал домой — пёсий натуральный брэх. Занашивал! По триста! Копеюх... Ну... Тут я не отступаю от её единицы счёта. Говорила б она про рублики, и я б сказал, что припёр одна целых три рубляща! Так зато каковские это рублищи! Оторванные от великого искусства!.. Не за погрузку свёклы. Не за починку коровника. Не за пахоту. А за кино! И за какое!..»

Колёка умедлил шаг, мечтательно и грустно повернул лицо в сторону, где когда-то снимали не то «Войну и мир», не то ещё какой фильм. Точно он уже не помнил.

Бородинское сражение!..

Приехали набирать на массовку. Никого из села не кликнули. Никогошеньки! А Колёку персонально позвали. Одного со всей Сухой Потудани! Правда, прочих председатель не пустил. Уборка!

— Я, — сказал председатель, — могу вам только одного Коляку Самоделова удружить без боя. Волóча⁴ ещё тот! Он у нас вольный казак. Ни к какому деревенскому делу его не пригнёшь. Пускай хоть у вас повоюет. Можь, убьют по нечайке. Так потеря невелика будет для дорогого Отечества.

Это он так. Для разгонки мысли. Для юмора.

Ну, юмор юмором, а Колёка достойно представил свою Сухую Потудань на мировом экране.

Надели на него всё военное той поры кутузовской. В боевое действие пихать раздумали, велели глубоко сосредоточиться на роли убитого народного героя.

Лёг Колёка вниз лицом в только что из-под иголки обмундировании, колодой провалился на земле с полдня. Всё сымали!

В Потудани фильм шёл один день на двух сеансах. Колёка загодя взял три билета. Один — на детский да два — на взрослый. И — на Татку.

Задумка была магистральная. На детском Колёка один внимательно просмотрит. А уж на взрослом смотрище будет Колёка Татке консультантом, чтоб та не зевнула дорогую сцену с ним. Не каждый день потуданские снимаются в кино. И не кто-то другой, а именно сам Колёка. Один изо всей Потудани! Подарок жёнке будет сладкий!

Наверняка дело выбежит на большой. Торжество какое! Не грех же ведь по такому случаю накрыть целую поляну да пофестивальить! И для начала Колёка ещё до кино слетал в мавзолей, в винную лавку, за фуфыриком.

Но до поляны радость не добежала.

На детском сеансе Колёка не увидел себя.

И не стал звать Татку на взрослый. «Посмотрю ещё сам повнимательней. Может, я сам зевнул от перенапряга?»

И когда после картины народ повалил на выход, Колёка зверино рванул в кинобудку.

Ещё с порожка заорал на механика:

— Ты, кирюхин, знал, что я буду в этой карти-

не! Ты меня и отчекрыжил! — и тряхнул тшеду-
шика механика за грудки.

— Ты меня за вымя не хватай... И кончай парить бабку в красных кедах! Ничего я не вырезал!

— Тогда почему меня нетушко? Один же сапог уцелел! Может, я и во второй раз зевнул? Давай крути мне одному киноху. Вот мой билетко!

— Хоть у тебя билет в полном ажуре-абажуре, не надорван, но одному целую картину я крутить не разбегусь.

— Будешь! Знаю я тебя... Что тебе в уши надыхат, ты то и сделаешь...

— И про что твоё дыхание?

— Тут к дыханию набавушка пристёгнута... Вот тебе, пьянист, матьстимул! — и Колёка пристукнул дном пузыря по столу. — Крути те места, где дорогие товарищи убитые лежат!

— За такой харч, — засиял механик, — будем крутить, пока всех мёртвых не оживим!

Часа три они крутили ленты. Но кроме сапога ничего от Колёки не отыскивалось.

Единолично опорожнив панфурик, механик сказал:

— Может, к твоему сапогу пририсую твоё плевалое? — и потрепал Колёку за щеку.

— А сможешь?

— В том-то и помидор, что не смогу. Тут тебе не «Мосфильм». И даже не «Баррандов»...

Колёка не верил, что от него уцелел в фильме лишь сапог. «Это киномеханик схимичил! Это он аннулировал меня как класс!»

И тайком ото всех знакомых Колёка на велосипеде излетал все соседние сёла, где на проверку смотрел свой фильм. Но себя так и не увидел.

Правда, Татке он однажды раз прихвалился неуверенно, что он есть в картине. Да не весь. Один сапог уцелел. Но — уцелел!

Доказать Колёка не мог, что это именно его сапог на его родной ноге, и пришлось Татке принять этот сапог на веру.

Под момент она покалывала его шпилечкой:

— Ну, артист, наголливудил! Скоро засядешь за мемуары «И Моя Жизнь в искусстве»?

— Ти, бобырь я не тшеславный. Однако скажу. Я один-разъединый со всего села казаковал на съёмке! Пускай кто ещё из наших вякнет, что был! Хре-енушки!.. Полежал, даже задал храпунца на родимой земельке. А мне ещё трояшкой поклонились. Задуриком не отва-а-алят!..

Колёке не понравились, как коту мыло, и куражливые крики про дармоеда.

«Ну и что, что не работаю? Про это ж все знают! Так чего визжать на всю Галактику? Можь, у меня аллергия на деревенскую арбайтен унд копайтен? А ты сразу гулькяй, гулькяй!»

А промежду прочим, боженька не фраер. Боженька всё видел!

Не сидел я век сиднем. Я пробовал честно писать. Всё-таки искусство звало...»

Колёка уважительно погладил нагрудный кармашек рубашки. В кармашке под застёгнутой пуговкой лежала бомбуля для дорогуши Таточки, вчетверо сложенная эта газетная вырезка.

Ученые назвали причину женской неверности

Американские ученые выяснили, что женщины, в крови которых содержится большое количество гормона эстрадиола, склонны к интимным отношениям с несколькими партнерами одновременно. Таким образом, в женской полигамности виноваты гормоны, утверждают специалисты.

Эксперимент, показавший неожиданные результаты, был проведён среди нескольких десятков представительниц прекрасного пола в возрасте от 17 до 30 лет. Все они принимают противозачаточные таблетки. Выяснилось, что у 78 участниц эксперимента завышен уровень гормона в крови, который отвечает за половую активность.

Таким образом, большинство женщин до 30 лет являются ветреными и не склонны к серьёзным отношениям, подытожила доктор Кристина Дуранте.

Конечно, злорадно думает Колёка, неверных женщин нет. Это выдумки мужичья. Гоняют тут мужики порожняк. Да и фамилия у лечилки разве ничего не говорит сама за себя?

Но наша печалька не об этой Дуранте. У нас своя Дурантеюшка, ненаглядюшка Татуленька. Как бы прознать, не слишком ли много в ней этой проклятухи эстрадиола?

Ну как выяснишь, ветренная ли Татка? Или, может, она на весь ураганище уже давно тянет? Куда б его постучаться? Кто подможет мне прояснить милую картинкушку?

Стыд подпекает Колёку за его же мысли.

3

Большак лениво переливался, перепрыгивал через железную дорогу.

Но Колёка зацепился за зебристый шлагбаум, остановился и не пошёл дальше. Умаянно присел.

Дорога и жара распластали его по бугру. Он тотчас уснул, упал и пропал, едва воткнул голову в чахлую тенёшку от жиденького одинокого кустарика.

Пролупил глядела — ан мчит скорый прямушкой на Колёку!

Упрело сбрасывает скорый обороты, примораживает ход.

А там и вовсе присох персонально у Колёки.

— Чего стали? — залежалым голосом ликующе спросил он молоденькую веселуху, выдержулась в распахнутую её вагонную дверь.

— Тебя, сизарёк, забыли взять!

— Так эт дельце исправимо! — Колёка суеливо подбежал к проводнице. — Вот везетёха!

— Чего, беглуша, разлетелся, как голодный кот на мышшь?.. Ишь, бах — и в ямку! Билетишко у тя есть?

— Ти! Оно и у тебя нету. Однако ты катаешься!

— Я при исполнении! — поощряюще улыбнулась жеманница.

— Вдвоёмко же лучше исполним!

— Я как-то вся в плотном сомнении...

— А ты не сомневайся. Как я!

На уровне его лица были её ножки, сытенькие, ласковые, озорные, и Колёка приварился к ним тупым ошарашенным взглядом. Трудно заворочалась в нём где-то слышанная генерал-мысля: «Какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает».

Заговаривая с молодой с какой, он редко когда подымал глаза выше её талии. Вроде стеснялся, кажется. Интересы его тут высоко не залетали.

«Муравьишка талийка... Роско-ошная барынька-картинка... Ти... Как же взнудать эту капризулю блошку? Невдахе и в яйке кость попадается... И чего выёгиваться, в Дарданеллы твою мать? — опало думает он, вмельк глянув вперёд вдоль поезда. Дали зелёный. — Как же укоськать эту мормышку?»

Просительно забормотал:

— Дай слово лаптю... Я не люблю размахивать кулаком под одеялом! Я напрямки... Слышь, королевишна, возьми божий дар, — тукает себя в грудки, — на сохсохранность... Не пожалеешь... У тебя в рубке я много места не займу... Да и богацко... вызолочу... Век будешь довольна!

Она чисто рассмеялась.

— Честное пионерское?

— Честное пионерское в квадрате!

— Живописно треплешься, королевич. Намоллол на муку да на крупу... Ну! Наша печь в дровах не разбирается. Сигай!

Она посторонилась. Вжалась в глубь тамбура.

Уже на ходу Колёка поймал поручни и, мурлыча: «Фонтаны били голубые, И розы красные цвели-и...» — эффектно подтянулся и как бы нехотя, с ленцой, на красоту занёс прямые ноги на железный лист, что прикрывал ступеньки.

Колёке нравилось всё. И то, что поезд бежал в Крым. И то, что это из-за Татки очутился он в этом развесёлом вагоне. И то, что никакая теперь душа его не отыщет. И то, что проводница оказалась студенточкой и счастливо заглядывала ему в рот.

«Вдарю слегка по югам, отдохну, — раскинул в мыслях умком. — А то разь это жизнелла? Как у седьмой жены в гареме! До двадцати пяти докувыркался, а на юге и разу не попасся наш котофейка!.. Но вот случай подкинуло... Что боженька ни делай, всё на лучшее всегда выведет. Назло тебе, Татулечка, съезжу хоть одним глазком гляну на морцо, хоть разок скупнусь и назадушки в родной вигвам! Я ж, блинский блин, совсем не гуливал на югах! Не бойсь, не застряну там навечно. Всего-то разушко окунусь и досвидос, Чёрненькое! Выполнию программу-минимум да и бежмя к тебе под легендарный под сладкий бочок!.. Ты к той поре точно уж успокоишься...»

За окном торопливо лились назад под солнцем усталые державные поля в жёлтом. Бежали к дому.

Раскатился Колёка в болтовне, в подробностях расписал свой сон на бугре.

— Понимаешь, боднул я целый составчик, он и кувырк. Во-она какой у меня лобешник!.. Ти... Из-за такого дерьмонёнка поезд народу стиб...

Эхэ-хэх... Как говаривала моя бабка, жизнь прожить не лукошко сшить. То ли ещё будет...

— А ничегогогошеньки не будет, — томно потянулась студенточка и смешливо тыкнула бледным пальчиком Колёке в нос, намахнула на Колёку свою фуражку. Железнодорожная фуражка ему очень шла. В ней он адски нравился студенточке. — Бывает, — всё задоря его, игриво тянет она, — бывает, и лягушка чихает, и платочком носик вытирает...

В проводниковом купе домашне уютно, хорошо.

Дрожь встряхивает Колёку.

Колёка пихает руки глубоко в карманы. Боятся, что они без его ведома цапнут студенточку за сановитые коленушки — так безотчётно-радостно и далеко выскочили любопытные из-под края отчаянно куцей юбочки!

И в жаре бормочет про себя Колёка: «Повар пеночку слизал, а на кисаньку сказал... Ух этот по-оварюн!.. Ёкэлэмэнэ!.. Вылитый хулиганишвили!..»

4

В первом купе — вагон был плацкартный — вехала какая-то толстёха-бабка с внучкой лет четырёх.

Время от времени канючливая внучка всё допытывалась:

— Бабичка! А икто понесёт наши чумаданики?

В один раз бабка ответила, что понесёт дед Пихто, в другой раз — ишак в пальто, в третий — чёрт, в четвёртый — боженька, а в пятый послала с верхней полки:

— Да застрели тебя горой! Отвяжись, чума чудобная!

Но в Симферополе, когда поезд уже подтёрся к платформе, девчонишка в испуге закричала:

— Бабичка! Так икто ж понесёт нам наши чижолые чумаданики?!

Все в вагоне заулыбались наивности маленькой нудяшки. Заулыбались равнодушно, пусто.

Только Колёка — первый стоял уже на выход у самой двери — дрогнул, услышав растерянный детский голосок.

Демоном продрался сквозь горы вещей, кучки тел, заставивших проход, и галантно поклонился девочке:

— Я понесу ваши чумаданики.

Через минуту Колёка был увешан вещами с ног до головы. Два узла на груди, два на спине. И руки не болтались без дела. Тяжеленные чемоданищи вырывали из него руки. Горюшкой еле выпихнулся из вагона.

Не подымая головы, навьюченным верблюдом степенно нарезал он вслед за чьими-то бо-соножками: куда все — туда и я! С прибегом — экую тяжелину допри! — воткнулся в хвост полукилометровой очереди.

Очередь оказалась на ялтинский троллейбус.

«Ну, — думает Колёка, — раз судьбе угодно, подадимся и мы в «тёплую Сибирь»⁵.

Бабка пошла дальше. Широкой грудью проломилась вперёд прямо к кассе. С дитём! Имею полное правие по-за очереди!

В два огляда бабка подкатывается к Колёке с билетами, с хныкалкой внучкой.

— Алёнушка! Ну ты уж постарайся. Заживи таку горю... Ну не плачь, звончек, — отходчиво сюсюкает бабка.

— Как не плачь! Ты больно делала ручке! Больно! Вот так! — Алёнка выворачивает ручонку. С подкруткой сильно щипает себя выше локтя.

— Ну-у, расстрели твою лихой! — конфузится бабка. — Ты хошь в этой толкушке без очередности выдернуть билеты и чтобушки по случайке за руку не крутнули?!

Алёнка задумчиво слушает бабкины оправдания и совсем серьёзно роняет:

— До чего ж ты мне надоела...

— Припрячь язык. Ты что, попрыгуха, с ума съехала?

— И съехала! И съехала! А ты с ума спрыгнула! Убила б тебя и убежала назад в Латную к дедушке Митрохе. Дедушка наказывал же тебе не бить меня! Не бить!! Не бить!!!

— Ну, подруга! Ты эт всё буровишь, не пожевавши как след...

«Мои девчатулечки на язычок поаккуратней, — гордовато думает о своих дочках Колёка. — Мои такие шайбочки не подбрасывают...»

— Я бросаю тебя, бабка-криволапка! Ухожу к дядь Коле!

Девочка обхватывает обеими жаркими ручонками Колёкину ногу, перестаёт плакать.

Светлея, Колёка кладёт ей лопатную ладонь

на голову. Ласково ерошит коротко обхватанные тёплые волосёнки.

— Вот гомнючка! — придавленно, сквозь зубы ворчит бабка и добавляет уже погромче: — Видали, наискалась кавалерка! Как жа! С первого глаза она, любовь, завсегдашно горячеей...

Алёнка её не слышит, не видит. Ни на миг не отлипает от Колёки. Даже когда шатнулись к троллейбусу, она, гордая, ухватилась за сетку, что нёс Колёка. Так и вбежала в троллейбус, держась крепко за сетку.

В троллейбусе она напрочь высмелела. Взоралась Колёке на коленки и тут же сморённо заснула.

Благостно жмурясь, Колёка до самой Ялты ехал с девочкой на руках.

5

А в Ялте уже и бабку подпекла охота. Загорелось старой, чтоб Колёка не упылил от них. Колёка тоже — чего лукавить? — немного привык к своим попутчицам. Но как ни жалко расставаться, дорога кончилась. Прощайте!

Высадил бабку с внучкой из троллейбуса и тут же, по привычке, припнулся к хвосту петлестой очереди. Скоро выяснил: кисли это в квартбюро.

Быстро двигалась очередь.

— Мне б коечку одну где-нибудь.

— У нас сдают комнатами. В комнате минимум четыре койки. А одну койку кто в комнате поставит? — устало спросила будочка у Колёки.

— Хэх... Гросс гадство... Это ж бомжаторий! Для меня могли б и поставить однушку, — вслух подумал он.

Он огляделся, как бы ища, что ж его такое ещё спросить.

— Да! Послушайте! Как у вас отношение к ООН?

— Самое тёплое.

— Ти... На юге это эстэсно... Позвольте наводящий вопросец. Как вы относитесь к выполнению решений ООН?

— Гражданин, проходите! Вы что, перегрелись?

— Нет, это вы замерзли тут у себя в тёпленькой Сибири! — обрадовался Колёка зацепке. — Это у вас отморозило память. Отогрею, напомню. Нынешний год ООН объявила годом обеспечения

жильём всех бездомников. Извините, я из их числа. Тем не меньше что я слышу?

Колёка был последний в очереди. Спешить некуда. Не грех осмотреться.

Одну сторону будки, солнечную, закрывал плакатный портрет шумной певички.

«А-а, чистоглазка, здорово! Так это ты жаловалась на неделе по телику: «Нам часто в жизни не хватает друзей и теплоты»? Услышал зов беды — прибыл-с. Чем могу-с, тем и помогу-с!»

Колёка кивнул на певицу:

— Ейнюшкин адресочек пожалуйста...

В окошко вывалилась по пупок древняя старуха с неквалифицированно запудренной морщинистой шеей.

— Были б вы Больной⁶, дала б... А так... Да кто вы такой, чтоб давать вам её адрес?

— Будущий муж... Штатный аист на крыше... — лениво отслоился Колёка от будочки и, меланхолично вздохнув, замурлакал прилипый мотивчик: «Только, только, только, только этого мало...»

Куда ж теперь? Где искать дупло?

У квартбюро кипел людской котёл. Одни предлагали жильё, другие гонялись за ним.

Но кого Колёка ни спроси, от него, от громоздкого косяка лохмогрудого, всяк норовил поживей вежливо отскочить, постно ужимая губы.

И лишь один дедок тараторливый, вертлявый, бесшабашно сдававший комнатёху на двенадцать персон, сам подкатился с тарами-барами и тут же свернул слова на певичку.

— Она живёт на Гоголя... Возля меня. Подь сюда, подь сюда, бездомовный бонза!⁷ — поманил худым чёрным пальцем. — Угнись, верста!

Колёка послушно наклонился.

Бесхлопотной, как игривый кот, — такой с горем не вяжется, — старый пим раскатился с угрозливым вдохновенным подвывом лепить стихи. В шёпот. На ухо.

— Если ты обойдёшь мой дом,
Град и гром на тебя, град и гром!
Если ты моей сакле не рад,
Гром и град на тебя, гром и град!..

— Где ж твоя сакля, Хасбулатушка?

— А! Где рос, там и выкис... — Старчик кинул чёрной костлявой рукой куда-то в горы.

— Мимо! — вздохнул Колёка. — Умный в гору нейдёт!

— Слишком умный — брат безумному! — укорно отхватил дед и уёрзнул, потонул в толпе.

«Ти, какая чёрная несправедливка, — сомлело думает Колёка. — У очень дорогого товарища Сталина была вон аж двадцать одна дача! А тут рядовому труженичку ночку перекрутить негде... Отличично!»

Делать нечего. Колёка побито побрёл назад к остановке, где оставил бабку с внучкой. Горестно подумалось: «Если не застану их, останусь один, совсем один в сомлелой, в очумелой от солнца пустодушной Ялте».

На счастье, бабка с внучкой там и прели при горке вещей, где он высадил их из симферопольского троллейбуса.

Завидела Колёку Алёнка — со всех ног бросилась к нему. С лёту счастливо воткнулась в его коленку.

Ожила и бабка.

— Ну, как вы тут? Без ссор? Без кровопролитий?

Бабка смято махнула разом обеими руками.

— Ой!.. Избави боже от кулака блоху... Со мной она в ссоре, только с тенью с моей дружка... Никак не свяжем, как одним добираться. Сидим без дела, киснем, как мёд... Ты-то чё наискал?

Колёка свёл подушечками большой и указательный пальцы:

— Красивый ноль!

— Ну и ладуньки! — ободрительно сказала бабка. — Айдаюшки с нами. Давай-но, чтобушко одним кагалом держаться... Вместях будем на собак лаять⁸. Со своей радостью я сюда с-из молодю каждый год наведуюсь. В прошлом лете жила у самой у центри... На Чехова... Три шага — море, два шага вбок — танцплощадка... Бли-изка... У меня знакомцев там полная лавка. Писала одной... Ждё... Где двух, тамочка и третьего, бреша, положит...

Увы, бабка сама оказалась без приюта.

Квартирная воеводша, у которой бабка оттолкнулась в давешний наезд, сказала, что у неё всё под завязочку глухо забито. Не то что бабке с девкой — прусаку негде перебедровать ночку.

Бабка — к соседке. К Мельничихе. К Мельнице. Так навеличивали во дворе Капитолину Пышненко.

Глянул Колёка на Капушку — его потом так и обсыпало.

«Ти... Богате-ейская бомбочка... За неделю не обежать... Эта мормониха с весёлой валторной⁹ кого ни подай в айн момент на папироску присушит... И пожалуйста! Мы и без папироски не проть причалить к этой любопышечке... Одному на юге... неприлично... И у ежа есть подружка жизни. А чем я хуже ежа?..»

Торчит перегретый солнцем Колёка посреди двора, у колонки, тянется ухом к жужжанью бабки с круглявой Мельничихой, и никуда уже ему не хочется идти больше. Хочется прикопаться здесь и только здесь.

Кутаясь и без того в тесный кургузый цветастый халатишко, Капа весело укатывается коломком во вторую от правого края дверку, размахнутую до предельности нарастопашку.

Дверей в ряд всего пять. По числу семей во дворе. Все двери распаренно размахнуты нараспах, будто перепрели от жары, и в то же время деловито поджидают, зыывают любого бездомника, готовые заглотить его в свои темнеющие недра, в какую в первую он ни влети дверь.

— Мельница намолола нам такеичкой муки, — докладывает бабка Колёке. — Две ночки — кавардак. Зато потом благодатушка божья сплошняком! Вхожу в пояснению... На две ночи отдружила нам сарайку. Там у ей освобонится фатера. Мы перебегаем на фатеру. Пойде?

— Побежит! — обрадовался Колёка.

Минут через десять приезжане вошли под свою крышу.

Правда, вошли не все сразу. Вжались пока только бабка с внучкой.

А Колёке уже и не вдаваться в этот чудильник. Некуда. Не было на Колёку места даже просто постоять. А вот так сразу, с дороги, садиться-валиться на белые хрусткие простыни, которыми только что застлала Капа койки, было неудобно.

С корточек пустился по-орлиному зорко, бдительно разглядывать свои апартаменты.

Сарай имел довольно приличный, презентабельный вид. Потолок оклеен рулонной безу-

коризненно белой бумагой. По полу — чистенький линолеум. Стены одеты в пролетарские обои в горошек, свеженькие, и все распестрены артистами. Ротару, Жеребяну, Суручану, Сундучану, Кобеляну, Голубяну... Весёлая компанелла.

Две кровати были кроватями лишь до той минуты, пока Колёка аккуратненько не раскусил, что это вовсе и не кровати, а так — чёрт-те что на колышках.

Сараюха квадратный.

Одна кровать, правда, натуральная, стояла во всю свою длину вдоль дальней от двери стены. Но уже поставить во всю натуру вторую нельзя. Кровати налезали одна на одну. Тогда вторую распилили на две. Одну половинку её приварили к боку полной, к главной кровати, которая по совместительству стала продолжением и пристройки.

«То есть, — шевельнул Колёка заваливавшаяся извилинкой, — и впрямь заночуй мы тут, у наших пяток с бабуленцией будет, похоже, вынужденный тесный контакт».

Для пристраховки в местах сварки под кровати припаяли стоймя железные чурки. Всё капитально! Всё на века!

В сарайке был один кроха столик. На нём — дорогой японский магнитофон завален вразброс пластинками. Сверху на пластинках — наполовину разгромленная «Тысяча и одна ночь».

«Что нам книжечки... Тут своя тысячка и одна ночка подкатывает!»

Колёка отметил, что по стеночке над бабкиной койкой протянута струна. На ней на плечиках и внакидь, буграми, висели платья, костюмы, блузки, сарафаны... Весь гардероб хозяйкин.

«Милое гнёздышко. Очаровашка... Только в полный рост не встать. Голова выше крыши... Ну, я здесь разгуливать не собираюсь. Всё-то и печали отхрапеть пару тёмных ночек... А там и назадки к своим...»

Тут Алёнка в каприз въехала в горячий:

— Бабуха! Ести! Ести хочу! А ты совсема не видишь, что у меня пузичко совсема выпустело!

Вжала бабка под кровать своё приданое и зарысила на угол за молоком.

6

Нарочно выпроводив бабку и почуяв вольняшку, Алёнка вёртко взбирается во дворе Колёке на плечи.

Нескладистый Колёка подымается с корточек.

— Уха-а!.. Как высоко! — взвизгивает Алёнка. — Ка-ак же высокоше!

Вкогилась ножонками Колёке в бока, будто на лошади была, егозливо затукала коленочками его по щекам.

— Дя-ядь! Покатай коником! Коником!!

— Коником так коником... Ти! — норовисто, до искры, гребанул Колёка жарким копытом асфальт и, коротко присев, с места взял в карьер.

Не сделал он и пяти прыжков, как ржавая проволока, натянутая до предела и покрытая расхристанным по ней сушившимся купальником с огромными красными окаменелыми чашками, заехала ему в рот. Повиновался Колёка силе ржавой проволоки, отступился назад. Огляделся.

Нет, не сбежать с площадки с маленькой прекрасной наездницей по каменным двум ступеням-глыбам. Слишком высоки, ненадёжны.

Как-то жалко, раздавленно обходит Колёка глазами двор и, собственно, впервые видит его во всей полной обстоятельности.

Двор вроде как двор. С улицы входишь точно по тоннелю. Сквознячок в спину игриво поталкивает. Слева — почта. Справа — высоченный бок дома. Неоштукатуренный. Рёбра кирпичей, вымытые, вытертые долгими годами, глазасто выпирают, как сильно выпирают ребра у худых, измученных болезнью людей.

Над почтой ещё два этажа, обвитые со двора всплошь резным балконом. Там какой-то отдел цен.

Из-под старой деревянной лестницы, засыпанной прошлогодними листьями, растёт незнакомое могучее южное дерево. Зелёным крылом летяще наклонилось над всем двором, будто и кланяется ему, и оберегает от чего-то.

В глубине тени дерева, к хвосту дома — выходил лицом на улицу, — неуверенно пристёгнуты в ряд под одну крышу пяток утлых квартир-распашонок. Пристраивали, ясно, на время. Да что ж найти на свете вечней временки?

Боком к ней жмутся посреди двора тоже под одной синей крышей пять кухонек.

В затылок кухням смотрят сараи, смотрят тоже из-под одной крыши. Смотрят гордовато, надменно, поскольку сараи выше кухонь. Вся штука в том, что всё это налеплено на склоне, и сараи, откинутаые на зады, стоят, естественно, уже на схваченной асфальтом площадке, покоящейся на бетонных столбах, с горячих глаз вкопанных, пожалуй, далеко не на должную глубину.

Этот подвох, кажется, чувствует двор, и от сараев к кухням нанизал в укреплёных бечёвки, проволоки, круглые сутки на которых сушатся внаытик разнокалиберные купальные доспехи, — слетелись сюда погреться со всех широт от Балтийска до мыса Дежнева.

Нет, не сойти с вцепливой наездницей с площадки.

Поскакав на месте, ударил зноистый Колёка во весь мах вдоль проволоки.

Хорошо на печи пахать, да круто заворачивать. Сделал три прыжка — стреха кухни упирается в колени. Назад, к сараю, не длинной путь.

Как кукушка в гнезде, мечется лохмач от сарая к кухне, от кухни к сараю, всё входит во вкус, шалея и сознавая, что у него, у коника, экая красавица визжит от восторга на закорках.

Вдруг откуда-то снизу донеслось собачье ворчание.

Колёка остановился. Надставил ухо. Откуда взяться собаке? Где она?

Старческое брюзжание шло от стены кухни, где три шиферных листа нависали дальше, чем все остальные. Под листами стояла кровать, огороженная простынями.

Колёка подошёл ближе, и тут из-под края простыни усталый голос собаки зазвенел рассерженным звоночком.

— Собачка! Ты чего ругаисси? — спросила Алёнка.

— Ну как не ругаться, ежели вы не понимаете простого вежливого слова! — укоризненно прошепелявил пёс Топа. — Ну чего совать нос куда тебя не звали?

— Собачка разговаривает!.. Собачка разговаривает!.. — сумасшедше затараторила Алёнка на весь двор.

— Эка невидаль, — скучно сказал Топа. — Ты ещё брызни на улицу. Там тебя не слышали.

Алёнка всерьёз приняла подсказку Топы.

Ветром слетела с Колёкиных плеч. Увееялась за почту, захлёбисто крича:

— У нас собачка разговаривает!.. У нас собачка разговаривает!.. У нас собачка разговаривает!!!

Ей не верили.

Люди учтиво обминали её, как вода камень.

7

Послушал Колёка, как затухал, удалялся голосок, надрывный, набухший от обиды, недоумения, и медово хохотнул. Притаённо спросил Топу:

— Ты как относишься к женскому вопросу?

— Разно... — уклончиво ответил Топа. — Дело сугубо личное... Как-то трепать мужчинам не пристало...

Совестясь, Топа опустил мордочку на лапы.

— У! Какой ты цивилизный нудяга! Под валенка шаешь?..

— Совсем за беспутника держишь...

— А чё ты из себя невинного строишь? Небось, выскочишь на Чехова, душа поёт?! Скок там с хозяевами, скок так, без хозяев, носится-гуляет всяких сучонок?! Ти... Знай шьют хвостами... И отечественные, и импортные... Знавал?..

— Знавал, грешен, парижаночку... За что и понёс наказание... — поувял Топа и показал лапой на верхнюю челюсть, нависавшую козырёчком. — Зуб на зуб после того не приходит.

— Э-э-э! Шалунелла! — пожурил Колёка. — А я царапаю бедну голову, всё гадаю, а чего это Топа шепелявит, как старичина. А оно вона вынь-подай что! Пострадамши за любовь! Шерше ля фам!

— Ну, пострадал... — потупился Топа.

Топа решил, что Колёка всё равно вырвет клешнями признание. Начал без охоты рассказывать:

— Толкуй, кто откуль, а мы все здешние... Я одну у «Ореанды» присмотрел. Ладненькая такая... Чистёха. Прогуливала своих хозяев, сама сидючи у тошей, некормлёной хозяйки на руках. О как!

А надо сказать, мою вертихвостку из десятку не выбросишь. Бела как сметана... Так бы и съел... Хор-роша-а... Чего уж там... Есть на что из-под лапки посмотреть...¹⁰ е-есть...

До сих пор удивляюсь... Меня тогда подивило — у неё на лапках тряпичные цветные

калошики. Чтоб не пожгла свои ходульки на ялтинском асфальте.

Ну, позвал я её. Она безразговорочно и заверти, заиграй хвостом. Завлекаю к себе в сарайку. Ну, подвёл я свою парижаночку к своей обтёрханной дверке, носом тырк в дощечку. Дощечка и открылась. Нырнула она, следом — и сам.

А хозяева, что по пятам бежали, и останься они с носом на улице.

На коленях зовут свою Жанетточку образумиться. Христом-богом умоляют покинуть занюханного ухажёрика. Меня!

Ну, наскочил я сверху, как делают все кобели. Пихнул завлекалочку по заднюшке в лаз, а сам дома баринком валяйся. В безопасности. А я не мог не проводить её до «Ореанды».

Ночь. А хозяева-хвататы тут как тут. Притаились за углом...

Как меня — о-оп, о-оп! — лаковой острой туфлей по мордасам! по мордасам!!

Кажется, мои зубки горохом просыпались по асфальту.

Ощупываю свои мордашки... Челюсть съехала на сторону. Зубы с неё осыпались... Пробую на место поставить челюсть. Так не ставится. Хоть что ты тут! Челюсть на челюсть не находит. Крепёнько подломил меня бзиканутый мусьё...

— Чем-то кончилось? — спросил Колёка.

— Э-э... В сам Париж калачами заманивала!!! — брехал Топа. — Да не поехал я. Да ну его, Париж! Там моря нету. Мельничихи нету. И сторона там чужушая... А на чужбине и ворчеша¹¹ тоскует... В жизни уж так. Каждый цветок на своём стебле распускается...

— Ну, друже, заверну тебе от души, — отвечал Колёка. — Глупи ты наворочал полный мешок! Уж куда-куда, а в Парижок не грех бы закатиться этаким бегемотом. Я б не думая махнул!

— Так то не думая! А подумавши — взвоешь!

— О! Вас выть не учи. Вольно вашему брату и на владыку лаять... Да что владыка... Вот, — подживился Колёка, — ночью воешь на луну. Нравится?

— Что ж тут может нравиться? А потом, чего выть-то на луну? Чего вывоешь? Это где в Голопуповке какая глупая левретка иль там криволапка и завоет с тоски. А мы, городские, кручё-

ные-учёные, не воем. Такую глупь не практикуем... Ну чего людям мешать спать?

— А самому спать охота? По-честному?

— Живое... Как не охота? — признался Топа. — Но служба. На службе не поспишь... Так, когда особо круто сон скрутит, налегке придремнёшь. А штоб бессовестно, навсхрап, до полной потери бдительности — не моги! Один глаз спит, сон ворует. А другой службу правит. На мне ж такая ответственность! Уйди на боковину, а всё это, — Топа показал лапой на двор, платно увешанный плавками, лифчиками, халатами, простынями, — а всё это какой лиходецкий бомбила¹² и умкни. Тогда лучше не просыпайся иль забегай со двора. До смертушки ж умолотят! В асфальт закатают!

— Весёленькая у тебя работёшка, сторожок! — погладил по холке Колёка. — Не припылишься... Можешь и соснуть накоротке, и служба не станет.

— Чует моё собачье сердце, не вник ты, головушка кудрявая, в соль... У нас же служба вечная-бесконечная. Болтуха!¹³ Двадцать четыре часа в сутки! Без выходных! Без отгулов за прогулы! Без отпускных! Без больничных! Хоть и больной, а о здоровье твоём ни одна собака не справится. С тебя спрос один. Стереги!

— Да-а... Пресно жуёшь, — рассудил Колёка. — Сплошняком обязанности. А прав и на понюх не подают... Ти... Ну, всё ж какие-никакие отдушины бывают?

— Летом как от работы отпрыгнуть? Зимой проще... Курортники разъедутся... А что свои выкинут просушить, так целый лимонард¹⁴ давай, штоб взяли, — не возьмут! А летом непроворотно, непродышно. Мало, штоб чужой кто не бомбанул. Тут и наши наезжие могут перепутать. Вешал одно. По рассеянности цапнул другое... Вот я за всем и смотри. Они со всей державы скопились-слетелись. А я упомни, что у каждого. Вешает — смотрю. Запоминаю. Собачье моё дело маленькое. Запоминай! Запоминаю. Снимает. Опять смотрю. Своё ли? Ежли не своё, я ему лапой показываю на его тряпицу. Совестно, с извинениями вешает чужое, хо-оп своё и бегом. Больше глаз мне не кажет.

8

Так они болтали о том о сём и не заметили, как вернулись бабка с Алёнкой.

— Иду из «Молока», а она навстречку беги и оре: у нас собачка разговаривая, у нас собачка разговаривая, у нас собачка разговаривая! Эка невидала!

На эти бабкины слова Мельничиха только улыбнулась. Ничего не сказала.

Алёнка незаметно подкралась на пальчиках к Колёке — сидел напротив Топы на маленьком стульчике, — повисла у него на шее.

— А, привет, Красная Шапуля, — уныло пробубнил Колёка и зажалел, что разговор с Топой придётся отложить.

Уловила девочка, что ей не рады, отлилась от Колёки.

Уже в новый миг зажмурила от удовольствия глазёнки и живо подползает на четвереньках к Топе. Залилась кипящим лаем:

— Ав! Ав!! Ав!!!

— Неразумная, кончай выёгиваться, — тоскливо буркнул Топа и, ужимаясь в подкроватную глубь, отвернулся к кухонной стенке.

— Бобичек! Не обижайся. Не убегай... Отгадай загадку... Четыре четвёрки, две растопырки, седьмой вертун, а сам ворчун. Чего будет?

— О господи! — грустно отозвался Топа. — Ты ещё спроси... Четверо стелют, двое светят, а один лежит, никого не пустит. Или... С собой не птица, петь не поёт, кто к хозяину идёт, она знать даёт. Ну какая собака это не отгадает?

— Бобичек! Какой ты скучный! — выговорила Топе Алёнка и вбежала в сарайку.

Бабка налила в стакан молока.

— Пей! — подала Алёнке. — А потом и дядь Коле налью. Нам всем доразу есть нельзя. На троих даден один стакан и одна чайная ложка.

Выпила Алёнка. Спросила:

— Бабичка, а наша кашка ещё не сваретая?

— Да и что ж я тебе в кулаке её сварю? Счас пойдём в поход по столовкам. Где напанем на кашку, тама и наша...

— Не хочу в столовках. Не хочу! Не хочу!.. Айдашки варить нашую. Наша кашка вку-у-усняшка...

Колёка залпом осушает стакан и заискивающе, должником смотрит, как Алёнка усердно обво-

дит в тетрадке красным карандашом копейку.

— У! Какая ты, Алёнушка, богатая невеста! — вымученно, внятяжку проговорил Колёка. — У тебя целая копейка!

— А у меня их много-много!

— Ти, береги! Без копейки рубль не живёт.

— Папка дарил подружке Юльке старые копейки. Юлька выбрасывала старые копеечки. А я сбирала.

— Умничка! Ты на правильном пути. Продолжай активные сборы... Конечно, мы не копейничаем. Однако... Как говаривали встарь, и царь за копейкой наклонится, а за рваненьким так на колени станет... У толкового хозяина всякая копейка рублёвым гвоздём прибита!

— Я просила папку, — тоненько выпевала Алёнка себе хвалу, — купи, ну купи-и мне копилочку... Котика со щёлочкой для копеюшек на спине... Жадобный... Не купил... Я сбирала денюшки в сумочку. Сумочка уже чижо-олая...

— Что же ты, миллиониха, будешь с ними делать?

— Как вырасту, буду ходить с ними в магазин. Буду покупать, что мамка скажет. — С этими словами Алёнка взобралась на койку. Начала скакать. Три раза добросовестно подпрыгнула.

Ровно три раза бухнулась одним и тем же местом — темечком — в низкий потолок.

— Подь ты вся! Надоела! — кричит бабка. — Не прыгай! А то все мозги разлетятся. Ещё дурей станешь!.. Ну, юла! Ну, мыкачка!

— Я ласточка, — уточняет Алёнка. — А не юла.

Бабка выбежала во двор к колонке сполоснуть бутылку из-под молока.

Колёка назидательно говорит Алёнке:

— Сиди тихо. А то собачка, — в открытую дверь показывает на Топу под кроватью, — выгонит.

— Не выгонит. Это не евойный домик.

— Уж чейный домик это, так только его.

— Ты в этом собачкином домичке останешься.

А мы уйдём жить в людяной дом...

Бабка возвращается с вымытой бутылкой:

— Ну, детьё, перехватили? Своей походкой дойдёте до столовки? Айдайте, айдайте в столовку. А там — и в обдираловку.

— Куда? — не понял Колёка.

— В платную полуклинику.

— Ти... Я там ничего, слава богу, не потерял, — сказал Колёка.

— У-у... Врачун гляня — кузов хворей в каждом найде!

— Но у меня ничего не болит, — артачился Колёка.

— Я слыхала, как ты кашлял, — стояла на своём бабка. — Так бронхитики кашляют. У меня тожа был бронхит. Тепере ухватила чин потолка... Нянкаюсь с астмой. У прошлом годе была там у помощника смерти... А по науке он называется врач... Фамильность какая-т с подпёком... Мимо рота мечется... Не вспомню...

— Тимченко Фридрих Гриюдетевич, — подсказал из-под кровати Топа, не поворачиваясь.

— Во! Во! Тимченка... Всего рупь стоя. Всё зная и задёшево. Рупь!

9

— ...Юркие какие! — выговорили им в справочной поликлиники. — За жалкий рупий хотите вылечиться у самого у Тимченки?.. Да за приём к Тимченке надо!.. Цены у нас не спят.

Подумала бабка, слегка огорчилась:

— Чего эт он, расстрели тебя горой, подорожал? Иль в этот год где подучилси?

— Не-е... Наверно, просто защитился, — предположил Колёка. — И стал камнем... Ну да! Во-он в списке против Тимченки стоит к.м.н. Извольте. Кандидат медицинских наук!

— Э-э! — кисло протянула бабка. — Я думала, он всё зная, а он, сказывается, только ишшо кандидат в полные знатоки. Сам кандидат, а дяре за всего знатока!

У Колёки отвалило от души. Может, хоть подскочившая цена на Тимченку отшибёт у неё страсть тащить его, Колёку, к врачу?

Но бабка повздыхала, повздыхала и выписала два, себе и Колёке, направления и упругой рысцей заколыхалась по скверу к будочке напротив. К кассе.

— Ну, зачем вы и за меня платите? — растерянно нудил Колёка и дёргал за локоть бабку, которая получала сдачу. — Я не пойду. Мне не с чем идти... Жуть голубая!.. Ну зачем вы платите?!

— А можь, мне хотса за тебя подплатить?! — с томно-игривым вызовом подпустила бабка. — Дажно Алёна... Все жа лечатся! А ты что, рас-

стрели тебя лихой, рыжий? Подлечись со всеми за компанию!

А Колёку поджигало плюнуть на всё и сбежать. Да куда? С какими глазами вечером всовываться под одну и ту же крышу?

И потом, Колёка в этом себе сознавался, не мог он уже уйти от бабки с внучкой. Во всём городе больше ни одной знакомой души. А он присох к ним. Приварился. Дома им заправляла жёнка. Он привык, чтоб им кто-то правил. А так, один, сам он совсем ничего не мог.

— Ты, Колюшка, главное, не теряйся! — вела на путь бабка, пряча в сумку кошель. — Я взойду первая. Ты — за мноюшкой... Пряма так... Ты этого бармаля в бледном чепчике не стесняйся! Что тебе с ним, его больных тараканов крестить?! Пряма тако ядрёно с порога и напаласкивай... Нож к горлянке — и за своё. Выписывай, милай, пенку! Выписывай, голубанюшка, сюда госпожу ингаляцию! Особь дави на кислородну ванну. Кислородну ванну кому здря не выпиша. На них очередь знашь какие? Ты просто ишшо не знашь... В водолечебку зайдёшь — одни чёрненькие! Черно кругома! А чёрненькие задарма рублёшки не кидають. Во-она у кого всяка копеюшка аршинной сотнягой приколочена! А ты говоришь, зачем я платю... Вода боль найдёт. Сама и отлечит. Во-от что кислородная творит ванна!

Колёка проклинал ту минуту, когда подлетел в вагоне помочь вынести бабке вещи — загнанная в тупик мышь и кошку кусает! Клял себя за свою глупую сердобольность. Ненавидел себя. Ненавидел бабку. Ненавидел уже и Тимченку, поскольку, не будь Тимченки, может, его б и не потащила сюда эта десятипудовая слякотная корова.

Тимченко Колёке не понравился.

Лет шестидесяти. В холе. Раскормленный. С вьющимися волосами. С выдающимся специфическим носом. Горный орёлик! Только который не летает, а на лету хватает.

Тимченко был весело настроен. Длинно-раздлинно лалакал про свою учёбишку в Москве. В институте уха, горла, носа. Тренькал что-то ещё...

Дёргал носом Колёка. Пробовал не слушать его.

— С вас скульптуру Шевченки ещё не лепили? — пытал Тимченко.

— Пока нет.
— А ка-ак похожи! Ка-ак похожи! Божественно!.. Только вы покрупней, помощней... потушистей. Вы откуда?

Колёку не манило называть на смех свою Сухую Потудань. С ересливым наскоком брякнул первое, что свалилось на язык:

— Столичанин я!
— Случаем, пёрышком не балуетесь? Не сочинительствуете?
— У нас все варианты возможны...
— Ов-ва! Тот-то, думаю, что это мне ваше лицо знакоменькое. И фамилия... Вы... покорно простите... из литфонда?

Колёка слыхом не слыхал про эту шарагу. Застыдился своего вранья, растерянно и подтвердительно кивнул:

— П-почти... Но я сам по себе... Давайте к теме... У меня одно ухо с год звенит. Тонко, как комар смеётся...

Тимченко потерял интерес к Колёке. Поскучнел и отвернулся.

Колёку он совершенно не расслышал. Но раз тот жаловался, сделал вид: я вас понял, сразу кидаюсь в дело! И с горячей важностью притворяшка принялся за то, что могло означать прослушивание. Блётской кружалочкой в один миг ткнул на спине места в три. Но при этом даже не вставил себе в уши трубочки от этой блестяшки.

Резво выписал пенку, ингаляцию.

Потёр-пошуршал своими бумажками, протягивая их Колёке:

— Согласны, что у вас пан фарингит?
— Бабка сказала — бронхит.
— Ладно! — подвеселел Тимченко. — Меняю свой фарингит на бабкин бронхит.

И в направлении на ингаляцию вымахнул фарингит, сверху размашисто вписал бронхит.

— Нет! — залюбовался он своим творением, вслух подумал: — Лучше к моему фарингиту добавим бабкин бронхит.

И по чистому краю листка притулил:

«Фарингит + бронхит».

Уже за дверью глянул Колёка в бумажки. Нету ванны!

Крутнулся назад.

— Доктор, забыл сказать... Мне нужны кислородные ванны.

— О-тё-тё... Рассеянный. Все рассеянные ве-

ликые... Наверное, вы какой-то секретарь?

— Да. Секретарёк у своей секретарши...

Тимченко вежливо улыбнулся, как он считал, тонкой шутке и уморённо навалился строгать на ключке со штампиком поликлиники.

В ВОДОЛЕЧЕБНИЦУ

Б-й Самаделов Н.П., 25 л. Д-з: неврастения.

АД 115/80.

Кислородные ванны. 36° С, 10, № 10 к.д.

Кожн. б-ней нет.

Колёка ни шиша не понимал в этой словесной каше.

За дверью бабка выхватила у парня этот листок. Перевела:

— Кислородные ванны, чудилка! Температура тридцать шесть градусов. Не сварисси... Десять ванн. По одной штуке кажинный день. Кожных болезней нетути. А д-з — диагноз. Неврастеник! Расстрели твои мяса, нутрии, неслух! Неврастеник ты!!!

— От тупень! От бабуин! — завёлся Колёка. — Он же меня и в лицо толком не видел. Ни про что не спрашивал... Откуда он выгреб, что я неврастеник?

— Вишь! А ты пел, ни граммки не болит. Боли-ит... Ишшо ка-ак боли-ит... Он жа в направлении первое слово поставил больной. Сократить ежель — б-й... Так что, товаришок больной, держись да лечись... И вот, — бабка заглянула в другую бумажку, — и вот на горизонте выскок субатрофический тебе фарингит... И бронхит мой вот увесь подтвердился... Э-э, лечись, лечись! Не запускай... Здоровья одно! А болезней тучи! Береги здоровью! Лечись!..

Минут через пять Колёка уже лечился. Давился кислородной пенкой. Гаже Колёка ничего не едал. В вишнёвую пластмассовую миску из краника надавливают шапку белой пенки. Тебе надо как можно быстрее съесть. Иначе все тайные ценности, не видимые и поди вооружённым глазом, разбегутся.

Кривился Колёка, но ел. Ел трудно, с отвращением зачем-то тщательно прожёвывал пенку.

Первой отстрелялась Алёнка и теперь подзуживала над бабкой с Колёкой — те жевали стоя за высокими столиками:

— Пережёвывайте долгей! А то пенкой пода-

витель. Жуйте хорошо-нахорошо! Не бойтесь, зубки не поломаете... А я сиропчик с пенкой уже выпила...

Навспех, захлёбисто наворачивали пенку и в самой раздаточной, стоя за столиками, сидя на вытертых диванах у стен. Набивали в оба конца и во дворе, под деревьями на лавках.

Ели дети. Ело старичьё. Всё ело. Всё задыхалось этой проклятушей пенкой!

Такое впечатление, что эти гореносцы лет по пять вообще ничего не ели и вот им дали пенку. Сняли они с полок свои бивни и ну охмивать на обе щеки.

Проходивший мимо мужчина осуждающе плеснул руками:

— Вот остолопики! Да что ж вы ею давитесь?! В той пенке кислорода — как золота у нищего в суме! Она вмиг вся выдыхается, и вы намахиваете один яичный белок. И больше ничеготушки! Да за трёх гриш¹⁵ вы ж купите пя-ять яиц с желтком и белком! А так вы ухлёбываете сиропишко и белок всего-то лишь одного яйца!

Насуровленная бабка гневно кинула глаз на басурманина. Она захлёбывалась тающей пенкой и не вязалась в перекоры. Только зверовато сверкнула горящими лупалками: «Вот дохлопаю вскорую пенку, я те ух выпую!»

— Дуренькие! — удаляясь, ласково-укоризненно выкрикнул каверзник. — Идите за кислородом на море! Плаваючи, вы хватаете своими бронхами кислород, кислородную пенку непосредственно с морской глади. А тут вам перепадают лишь жиденькие бульбашки!

Бабка яростно проглотила последнюю ложку. Так же яростно погрозила подкопнику пустой чашкой:

— Ты чё, кислый петушака, распелси?! Чё без ума несёшь пургу? Облопалси пенки?.. В прошлом же годе со мной за одной стойкой нараскорячку, стоя, как хреновской жеребец, трескал эту самую пеночку! А тепере всякие гнилые непотребствия вяжешь?!

— Вяжу! Потому как допёр, что за здоровьем надо топать на морюшко. А не давиться этим глупым пшиком.

— Ступай, пустобрешливой! Ступа-ай, кудрявич. — Мужчина был лыс. — И не смущай, раздолбайка, дорогой трудовой народ диковинной хренью.

Обязательно надо после пенки высидеть полчаса. Только потом можно идти на ингаляцию.

Ждать — каторга. Солнце. Тёплышко. Поскорее бы отбарабаниться от этих дурацких процедур и — на море. А ты преи в компании бабки с внучкой. Жди.

Нетерпение подкусывает Колёку.

Лопнула терпячка и у Алёнки. Она то и дело ловит бабку за палец, тянет с лавочки к ингалятории. Бабка упирается толстой коровой, что на верёвке тащат на базар.

Наконец — время!

Алёнка первой влетает в ингаляторий. Захватывает бабке стул у свободного аппарата.

Не глянулось Колёке дышать подогретой морской водой и настойкой календулы.

Но когда перешли в другую комнату на косточковое масло, он несколько повеселел.

В пару сипели едва различимые аппараты. Едва угадываемы у них и страдалики — сидели и дышали в трубочки.

Пар... сипение... Как в кочегарке какой.

Ему занимательней было здесь.

Маслом дышат меньше.

Народу пустовато. Никто из медсестер не смотрит. Свободы через край! Хоть дыши, хоть не дыши. А хоть дыши всеми маслами. Всеми взаподряд!

Бабка так и делает.

Отдышала свои пяток минут по песочным часам — от косточкового масла перебегает пуговой сытой мышкой к абрикосовому.

К шалфейному.

Ещё к какому-то.

Ещё к какому-то...

Следом за ней ко всем аппаратам подлипает и Алёнка.

Колёка вывалил на них растарашенные гляделки.

— Ума не дам... Ты чё впрохладь сидишь пенёчком на одном месте? Примёрз? — подпекает вшёпот бабка. — Давай дыши со всеха! На халявку чё не дышать? По бумажке, эта дышалка стоит копейки на раз. А мы, стахановцы, в каждую забежку сюда надышим ого-го на скоко рублевичей!.. За Алёну и копы не плачено.

Ей эта леченья нужна как зайцу зеркальце. А ты поглянь, как старается, на бабку гляючи... Давай-но безразговорочно дыши!.. Что за подсмешки... Иля ты тряхнулся мозгой?

— Да можно только пять минут! Вы ж потравитесь!

Бабка морщится:

— Э!.. Трещишь, как старая телега! А послушать нечего... Никого ж не отправили к верхним людям!¹⁶ Пока ишшо ни одного отравленника отсюдушки не вынесли! И своей ходкой ни один не ушёл отседова на вечную жизнь...

— Ти... Будешь зариться на дармовщинку — лоб полысеет... — бормочет Колёка.

Бабка кладёт тёплый мягкий коврик ладони Алёнке на голову.

— Нам это не угроза... Давай, внуча, дыши и за дядь Колю... Будем с тобой и за дядю дышать, раз он моей умности не ухватывая...

Бабка с внучкой уже чумеют. Зелено в глазах. Голову подкруживает. Понимает бабка: надо кончать. И она со вселенским сожалением вышатывается из плотного пара.

Подъехало на троечке милое времечко. После ингаляции нельзя час говорить!

Битый час они молча выждали на скамейке и поплелись, как черепахи, в водолечебку на кислородные ванны.

И после ванн обязательно надо отдежурить полчаса в комнате отдыха.

Лавки широкие. На дерматине.

Полумрак. Смирно. Уютно.

Разговаривать нельзя.

Сидели, сидели бабка с внучкой и попадали снопиками в сон. Как в омут.

Жуёт Колёка губы, зло пялится на задёрнутое плюшем тёмное окно.

За окном через дорогу — пляж, море.

А ты кисни, как тесто, в этой распаренной полутьме да жди. А чего ждать? Чего?

Уже ближе к вечеру проснулась бабка-царёха.

Куда ж теперь? На море не сунешься. Люд уже с пляжа толпами течёт, тянется тонкой вожжой¹⁷.

Наша троица понуро бредёт по набережной в столовую. Натывается на берегу на скамейки одна над одной, как на стадионе или как в греческом театре под открытым небом.

Панамкинский народишко важно сидит и дышит морем.

— Давай и мы подышим морем! — Алёнка брызнула к свободному месту.

Бабка колышется следом.

Добежала Алёнка до скамейки. Торопливо села и накрыла ладошками место рядом. Занято, занято! Это бабушке!

Глупым кажется Колёке сиднем сидеть у воды и дышать. Он проходит чуть дальше. Ко входу на пляж. Тоскливо смотрит, как ленивая волна коротко пробежалась по бережку и оставила на песке белые шипящие слюни...

На вздохе Колёка упирается взглядом в стенд:

«Ялта — это город, который борется за звание города высокой культуры, основными лечебными факторами которого являются климат, солнце и море.

Пляж — это лечебный кабинет на открытом воздухе. Не загрязняйте его! Не приносите на пляж продукты питания.

Не рекомендуется полоскать рот морской водой, мыть фрукты и овощи, т.к. в ней могут быть болезнетворные микробы и яйцеглист».

«Гм... Как красиво начали и всё скакнули к яйцам глиста...»

Колёка возвращается.

Бабка вполношённо тараторит:

— А я вся выпужалась в смертоньку! Ни пены, ни пузыря!..¹⁸ Пропавши наш Колюшок... Что ж теперче будя?

— Ничего не будет, — опало отмахивается Колёка. — Нудь... Наскучило гляделы продавать да пинать воздух. Может, по домам?

— Можно и по домам. Но посла столовки! А то вдома, в нашем чудильнике, еды ни в показ. Нетутки и зёрнышка в глаз бросить.

После столовки уже совсем стемнело.

На набережной не протолкнуться.

— Тыща народу! — обомлело дивится Алёнка.

— Сбродный молебен, — лениво уточняет бабка.

Рядом, тут же на набережной, зазвонисто ударил оркестр.

Бабка молодо засветилась:

– Вот, Колюшок, и разбавим твою зелень тоску. Айдайте, молодёжики, на танцы-штанцы! Айдатеньки!

– На танцы! На танцы! – взвизгивает Алёнка, как некогда крикивали чеховские сестрички «В Москву! В Москву!», и неистово тащит бабку с Колёкой на ералашный шум оркестра.

Поглазеть избока Колёка не прочь.

Но бабке мало смотрин. Ей подавай танцы. И она вытаскивает Колёку в круг, дурманно пускается вскачь властно кружить его в вальсе и одновременно, в вальсе, выбивает ещё что-то вроде не то чечётки, не то дробей, не то ещё какой тоскливой чертовщинки.

Колёке не нравится вальс, и особенно такой вальс, а пуше того не нравится бабка в вальсе. Чего она жмётся так, безрогая бизониха? Ни стыда ни совестишки... Народ же вкруговую. Всё видят! С глазами народ! Всё на таком свету!

– Нет... Не могу... – бормочет Колёка. – Ти... Голова кружится...

– Круглячитесь! – уточняет Алёнка, которая вертелась-скакала тут же.

Он выдёргивается из цепких потных бабkinых клешней и сходит с круга.

Задавливая неловкость, бабка семенит впригонку.

– Ну, ты чё выпрягся из-под дуги, танцорик? Байстуешь, шайтанец?.. Иля мои танцы... дробушки мои не к моде?.. Не к ладу?.. А танцориха я всё ж жа-аркая... Эт про меня: хочь и погано баба танцюе, зато довго. Главно, Колюшок, долго... Ну ты чего, плясей, подкис?

Колёка, не способный отбиться от старушней навязки, в мыслях обложил себя незнамо каким этажом, ругает себя безвольцем, мягкошанкерным кисляем.

А вслух как-то виновато плетёт:

– Подустал... С дороги... Ноги спят, руки спят... Давайте по домам. Самый раз обняться с подушкой.

– Я и на это вся горячо согласная. Мы-ть тоже устамши...

Бабке не к душе, что вечер так бестолково смазан. Ну какое ж спаньё, когда ещё, поди, даже мелкосню не укладывали по телевизору?

В сарае при свете Алёнка налаживается скакать.

Совестно Колёке, что расстроил бабку, и он разготов вступить за неё.

– Как солдат генерала, так и ты слушай бабушку, – осаживает Алёнку. – А то носишься, носишься. У тебя мотор в хвостике?

– У меня нету хвостика. Есть попка... – Девочка показывает на край своей койки: – А кто тут спит?

– Бабушка.

– А у стеночки?

– Красная Шапочка.

– А на этой койке кто?

– Серый Волк.

Алёнка взвизгивает, прижимаясь к бабушке:

– Бабичка! У нас в домичке будет спать Серый Волк! Ты не боишься?

– Да я сама хучь какого волка вусмерть выпужаю...

Колёка вышел: мол, спокойно укладывайтесь, я пока на дворе поторчу.

Не успел он отыскать на небе ковш, как в сарайке померк свет. Вернулся.

Рубаху он кинул на «Вегу-180» с горкой пластинок, а штаны – на две усилительные колонки, что чернели у самой у двери.

«И стереофонический проигрыватель, и колонки наверняк добыты на рубленции таких бездомников, как мы в этой сараюхе», – подумал Колёка и полез в прохладу под простынку на своей койке за куцей занавеской.

Сетка до страха быстро ухнула куда-то вниз, увлекая и его самого, так что у Колёки обмерли пятки.

Господи! Как же тут спать? Голова, ноги высоко вверху, кардан-заднюха глубоко внизу, где-то в пропасти... Как в гробнице Тутархамона...

Боже, и впритирку тесный, стопроцентный контакт Колёкиных пяток с бабkinыми. Закрытое, подпростынное собрание шести ног и тридцати пальцев!

Попробовал Колёка ужать свои пятки – не смог.

Не повернуться. На бок, на живот не лечь... Разве что надвое переломиться?

Он затаился. Думал, как же быть.

Легонько-ласково бабка тронула ногой его пятку.

– Колюшка, – подыграла голосом, – девка моя

как поднесла ш-шочку к подушке, так тут и сгасла. Спи-ит без задних гач. А ты, парубец, испишь?

— Крепко сплю, бабуль, — буркнул отрывисто.

— Колюшка! У ты язычок ну крапивка... Прямо окатил лёд-водой... Как загнёшь, как загнёшь... На добром коне не объехать, семером не обхватить... Ну сказанул!.. Хоть на вешалку мне иди... Е-богу, обижаешь... Я ишшо не ско-оро подъеду под старость лет... Ну какая я бабка? Тебе, кудрявик чернобровый, один раз двадцать пять, мне ну два раза по двадцать пять... Так какая я от этого бабка? Я — Аня... Ну, Анна Захаровна. Тольке не бабака гангрена... Не-е... Я и нашлась в деревнюшке Девица. Это под Нижнядвяицком в воро-нежской стороне... Зайцевы мы...

«Вот так компашка... — думает Колёка. — Серый Волк, Заяц, Шапочка-Кепочка... По японскому календарю нынче год... Кто навеличивает годом кота, кто годом зайца... Заяца! И его подружки Зайчихи! Не в честь ли этого шалест бабуся?..»

— Колюшка, так ты испишь? И оч кре-е-епко? — игристо протянула бабка.

Колёка не ответил. Только как-то жалобно и судорожно всхрапнул.

Ужала бабка губы, вздохнула и осторожно перенесла себе на грудь распаренный комочек внучкина кулачка, жарко выброшенного из-под простыни за голову.

11

Утром, когда Колёка продрал глаза, бабки уже не было.

Алёнка спала поперёк койки.

Дверь враспашку.

Старая тюлевая тряпица каталась на ветерке в дверном просторе. Поглаживала Топку по голове.

— То-оп! Ты чего не баиньки? Старческая бессонница?

— У вас соснёшь на зорьке... ОТС¹⁹ под окном: бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу... Твоя распрекра-ница варит Алёнке кашу на кухне...

— Ты что, через стенку видишь? — дивился Колёка.

— Ё-моё! Зачем же через?.. Э! Да ты ещё не разглядел... Напротив Капкиной койки, под которой я квартирую, — Топа повёл лапой за себя,

показывал на завешанную белыми простынями койку под далеко выступавшими с кухонной крыши тремя шиферными листами, — окно в кухню во всю стену. Это на тот дорогой случай, если будет интересная передача по телику, так чтоб лёжа и ей и мне можно было смотреть. И лежим мы ночью всяк на своей этажности, а в окно телик на кухне подсматриваем один. Так вот, твоя бубука манную мешает кашу на плитке и в мыслях выпекает (мысли её я слышу): «Как лопать без платности в столовке — эт мы. Как дыхать моей ингаляшкой без платности — это тож мы. Как жрать без платы пенку — опеть мы. Первей нас нету! Как без платности томиться в кислородной в ванне — никто, окромя нас!.. А как в отплатность хоть на грошик подать нищенке радости — так, извиняюсь, это не мы, это не к нам. Сразу зоб на сторону... Мы спима! Поддаём храпунца... Козлина вонький!.. В небо убился,²⁰ а душевной ответственности и с прикалиток нету... Какой-то повреждённый... Ни с чем пирожок... Иль им нечистая водит? С таковским только и трепать хвостом... Чё, распустёха, буровлю?.. Ну чё?.. Совсем гульная корова пала в убуд... На голых словах... С букушкой разь въехать в грех?..» Друже, насколько я понял, это песенка о тебе. Смотри, ты знаешь, что бывает за растление божьих обдуванчиков? Ох, жизнью ты не учёный... Смотри... Шепчет мне моё ретивое, взрыдывает по тебе доблестный рабфак трудящихся...²¹ Смотри... И потом... Ты что ж, и кормишься, и лечишься за бабушкин счёт?

Колёка подрастерялся:

— Вообще-то, получается... да... Ни черта я с нею не поделаю! И в столовке, и в поликлинике... Не успею дотолкаться до кассы, как она обегает меня, слонихой заслоняет меня от кассирки... А сама щебечет, щебечет... На языке как на музыке... И наскоряк платит... Ну, раз ей это нравится — плати. Не имею я права лишать человека сердечного удовольствия.

— Однако ты с явными задатками сутенёришки. Не шай под савраску без узды... Неприлично на бабкином горбу ехать в раёк. У неё и так на горбу и её астма, и внучка, и дочка в Магаданке, и дедка в Латной под Воронежем... Надо политично вернуть по-джентльменски всё, что она за тебя заплатила. Правила хорошего тона обязывают.

— Где это записано? — буркнул Колёка.

Топа — в ответ:

— В Уголовном кодексе!

— Может быть, может быть... Но какие ты реверансики ни выкидывай, главное вылезет наружу: деньги, грубые деньги даёшь женщине. Разве это порядочную женщину не оскорбит? Не унизит?

— А ты, авантюристик, отдай так, чтоб не оскорбило. Умный милостыню подаёт, даже его рубашка не узнает... У тебя на отдачу здоровский козырь. Отдаёшь ей её шелестелки! Её же! — учил Топа.

— Да это я разочтусь... — мялся Колёка, но знал: Топа дело говорит.

После, покуда долго мудро сопел в пещерном сортире, покуда умывался у колонки, Колёка тяжело думал: «Как же вернуть деньжуру?.. А вернуть надо. Топа прав. Это меня раскрепостит».

И придумал Колёка.

Положил купилки в детскую плетёную корзиночку, шумнул Топа и показал на смурую бабку, которая кормила кашей Алёнку.

— Это вам от вашего соседа по койке, — поднёс Топа бабке корзиночку с зелёной трояшкой.

— Но почему именно деньжанятки?

— Во-первых, это ваши бабурики, — пояснил Топа. — Вы за него вчера платили. А потом... Не обижайте его. Рублёхи убивают в нём все добрые чувства к вам.

Бабка просветлела.

— Тады лучше без убивства!.. Алёнушка! Ласточка-сизокрылица! Ну-к, скушай ложечку за нашего дорогого дядь Колю!

— За дядь Колю я скушала уже половинку талерки. Ещё ой полные три скушаю ложки.

Потом Алёнка послушно ест ещё и «за папычку, за мамычку, за дедушку Митрошку».

— А теперь за компанию в охотку последнюю за меня... За любимую за бабушку...

Алёнка в замешательстве с тоской смотрит на бабку:

— А за тебя твёрдо не обещаюсь... Вовсе не обещаюсь. До чего ж ты вязкая приставоха! Дедунюшка Митроша русским же языком наказывал тебе не заставлять меня есть через силку.

— Оха, гомнючка! — пыхнула бабка. — Что ж ты меня в позор топчешь перед дядь Колей? Перед Топкой?! Да дедушка Митроха та-ак ба

тебе наподавал за меня! Добре, богатейске отшелкал бы!

— А я убежала б к Юльке! — вредничает Алёнка.

— Он бы тебя и тамочки сгрёб!

— А я убежала б на самолёт! А самолёт он пеше не вдогонит. И о-оп к мамычке с папычкой на Майгадан!

12

*Юг для северной селёдки
Что-то вроде сковородки.*

Пётр Сиявский

Сегодня Колёка сам заплатил за свой завтрак.

Бабка, конечно, подсуетилась, как и вчера, разбежалась за него платить. А он устерёг, вовремя прикрыл её кошель перевернутым гробиком ладонищи, отдал свои пенёзны и сказал:

— Не переживайте. Счёт дружбу не портит.

— А мне что... Мне абы не портилось... Абы вони не кидало...

Ей нравилось, что Колёка был ровен, как и вчера, не строил из себя прынца, не откололся. Отдал купилки всё до копыя, но не отпал от бабки с внучкой, вместе потелепал из столовки одним кагалом на пляж за «Ореанду». На пляже, сразу от входа, свернул вслед за ними и приплёлся к месту, где толкуются родители с детьми.

Стали раздеваться.

Колёка мигом смахнул с себя штаны-майчонку и бултых головкой в океан-море. Только жердины пяточки и видали.

Вытаращилась бабка на воду, где под голубой толщью кувырчался Колёка, и стоит сама не своя. Совестно ей стало раздеваться, думает: «А ну, увидя мои хрюшкины окорока... Не-е... Я уж перед ним денёшек какой на бережку так, одемши, поманежу...»

Она ждала, когда выплывет Колёка.

Отлилось, может, минуты с две, когда он выдернулся из морщинистой игривой сини метрах в тридцати.

Бабка ахнула и бежмя кинулась за ним следом.

— Ты на что, — кричит, — так далеко сплыл?!.. Акула, чертяка, укусе!

— Не укусит! — хохочет Колёка из колышущейся весёлой дали. — Подавится моими костями!

— А но давай назадки!

Помахал он ей ручкой и враскидку подрал дальше.

Цепеня, бабка закусила губу и всё шла, шла за ним, покуда не заметила, что вода уже плещется ей в рот. Спохватилась: «Господи! Что ж я, шербатая поварёшка, вытворяю? Мне ж низзя в воду!»

Выскочила она на берег, с камня опало возрилась в открытость шаткой воды.

Колёки уже не было видно. Головы на синем маячили, а где Колёкина — поди разберись...

— Бабичка! Ты вся мокренькая, — дергала за палец подошедшая Алёнка. — Раздевайсь! А то вся выстудишься...

Зыркнула на внучку бабка, поставила ладонь козырёчком к глазам. Низковато...

Взобралась на пальчики и растерянно всматривается в качкую, ленивую дáлину, что вспыхивала радостными бликами.

Колёка заметил, что за ним наблюдают. Видел, что бабка уже плоха на глаз, и проплыл по крайке; неслышно подкрался на коготочках, пристыл с нею рядом.

Приставил скобку ладони ко лбу и задёргался из стороны в сторону, как это всё ещё делала в нетерпении бабка, — заполошно вглядывался в море.

Не прошло и года, как они столкнулись взглядами из-под рук.

В искреннем конфузе бабка обрадовалась, что Колёка жив. Вот он, жердина! Зубы ещё скалит!

И Колёке было приятно, что кто-то за него переживает.

Ей хочется поговорить с Колёкой, и она в ласке спрашивает:

— Колюшка! Солнушко наше! Ты не знаешь, где мои солнцезащитные очки?

— В сумку к себе заезжали?

— Вот только тут я и не была! — Она открывает свою блёсткую чёрную сумочку и в досаде натывается на очки. Вздыхает. Про что бы ещё такое спросить Колюшку?..

А Колёка тем временем блаженно растелился по горячему песку во всю свою коломенскую версту.

Скоро его обсыпала любопытная детвора, и по слогам вычитывала, что было прописано тушью на Колёке.

На левой ноге, у корней пальцев, было промашисто выведено: «Они тоже устают». Продолжение следовало на правой ноге: «...Им тоже надо отдохнуть». На одной руке: «Нам не страшен серый волк». На другой: «Не забуду мать родную и её слова».

— Дя-дя, — поскрёб мальчуган Колёкин локоть — (малое дитя не боится и тигра!), — а какие мамкины слова вы запомнили?

— Усохни с глупостями... Ну-ка, кыш отсюда! Кыш, головастики... Линяй прочь!

Детворня неохотно отбрела и в отдалёке примёрла кружком.

И чего-то непонятного ожидала, уставившись на Колёку.

В кружок лениво вошёл незнакомый парень с облезлыми плечами. Отпугивающе похлопал в ладоши:

— Брысь, брысь отсюда!

И просто, будто они с Колёкой век в друзьях, спросил:

— Ну ты, Пипино, чего весь расписан, как Собор Парижской Богоматери?

— Засылай вопросишко полегче.

— Где кукуешь-то?

Колёка просыпал смешок. Вспомнил Алёнкин морской рисунок, приколотый к стене кухни как раз напротив их клетухи:

— В резиденции с видом на море... А по правдушке — в сараюхе с видом на кухню и на собачий дворец.

— У меня нюх. Так и думал... Ты мне глянулся с первого глаза. Может, двинем ко мне? Бесплатно... Я на севере колупаю в шахте стольники... Прилетаю сюда. На троллейбусной станции бабука сдаёт отдельную хазу на четверо рыл. Стакались. Едем. Бабука: «А где ж остальные трое?» — «Я за них. Люблю свободу. Один буду королевствовать. И не вздрагивай. Требуемый червонышко за каждую ночь гарантирую...» Я распределил койки по своим северным шевелилкам. Эта — Светина. Эта — ух! — Катина. Эта — Алина. Каждый вечер я уходил со своей подушкой с ночёвкой к одной из них по строгой очереди — спал на койках этих своих веселушек. Всё целомудренно, безо всяких обнимашек... На втором круге это суперское хождение меня стоило. Я завёл одну ялтинскую заводилочку. Этакая пикантная мармеладка с сумасшедшинкой. Защи-

бись! Полный шоколад! Найдётся и тебе птичка для полного комплекта. Без бэ!

— А... Да у меня этих птичек и так перебор! — буркнул Колёка.

— Ну, смотри... Тогда не вопрос! А то ты мне глянулся. Думаю, что-то в грусти человеке, не помогу ли горю... Ну, я выпадаю в осадок. Покедушки!

Парень помотал лишь куцапым мизинцем и побрёл прочь меж тел, что тесно дымилась на солнцепёке.

Колёка лежал внизлицом, раскидал по калёному песку руки.

Взвизгивала, плескалась у ног в надувном резиновом корытце голая Алёнка.

Бабка сплетни сплетала, библию составляла с какой-то пляжной старухой.

— ...У меня зять с головой. Сурьёзный. Там спокойный что! — докладывала старуха. — На работе указательный ему палец отчкнуло. На одной кожухе держался. Забегались пришить. Чего ж не пришить? В Литве вон девчушка под косилку попала. Отец косил, а она игралась в траве, не видал. Обе ноженьки так и отпанахало. Девчошку, ножки подобрали, на самолёт — и в Москву. Пришили... Ага... Ходит... А тут палец. Экий страх! Ну, хотели ж пришивать. А зять распорядись отхватить совсем. Говорит: будь другой палец, ещё б подумал, а указательный... Указывать не буду... И этот анчутка весь в батеньку слит, — гордовато кивнула на мальчика в панамке и в трусиках. Он важно, нахмуренно обливал из детского ведёрка Алёнку, и та визжала от восторга. — В шесть пошёл в первые классы. Пошёл вместе с букварём и с журналом «Наука и жизнь». Вишь, какой захлёт? Ему скушно в школе. На уроках читает «Наука и жизнь».

— А мою мочёную визжалку, — пожаловалась баба Аня, — и в семь, наверно, дубцом не загонишь в школу. Убежит! Ей-бо, убежит!.. Глупей же валенка!

— Ты уж не гудь так солню, — возразила старуха. — Мы-то что, выскочили на свет на божий уже при всём при своём сегодняшнем уме? Вырастет — набирает ума... Главню, есть за кем, есть и с кем собирать... Хоть нас, бабок, и в копейку не ставят, а вот нараз примри мы все гнилушки — жизнь станет!.. Сгаснет... Без

бабок мир упадёт! Ещё как кувыркнётся! Всё наперекрёс поскачет! У-у!.. Без бабок хоть глаза завяжи да в омут бежи... Вот убери старичьё своё плечо — безразговорочно упадё дёржава! Бабы ж во все дыры носы толкают! Детей подняли... Своё по чести отворочали. Все-е рученьки положили... Не то что нонче, в деле будто береста горели... Да не сгорели... Теперь дома в три смены пашем. За нами дети спокойно работают. Под нашим глазом внуки спеют. Дома мало с ними кувыркались. Ещё на юга кати. Вишь оно как! Детям всё некогда. Одним нам только есть когда. Ну да ладно. Мы, стахановки, и внуков подыдем.

— И правнуков вынянчим! — согласно влилась в подхват баба Аня. — Мы ишшо как машины бегаем...

— Мы скромные. Мы долго жить не разбегаем. По сто лет проживём и больше не будем... Хоть пока и блоху можем взнудать...

Старухи — сидели рядком — уткнулись друг в дружку плечами и рассмеялись.

Бабий перебрёх покальывал Колёку: «Тоже стахановки... Видите, земля без них закрутится в другую сторону. Неподменимые... И на Ялту нету им заменушки... Работюлечки... Аж из духовок пар валит... А вообще... Бабульки пашут... Внуков вон лечить притащили... А что ты привёз?.. Одну свою дурь?..» Колёке вдруг показалось, что это не он самого себя мысленно спросил, а одна из старух — в голос.

Он вскинул лицо ответить и тут же осёкся: старухи вяло мыли свои новостёшки, не обращали на Колёку никакого внимания, словно его и не было.

И только мелкосня, заморожённая росписями на нём, немо всё тарачила на Колёку изумлённые глазёнки, налитые укором: «Дядя, а игде твои дочки? Ты зачем приехал без них?»

— Кыш отсюда! Кыш! — замахнулся на демонят, нервно впрыгнул в брюки и чуть ли не бегом дунул с пляжа, на ходу застёгивая ремень.

— Бабичка! Дядь Коля ушёл! — взахлёбку прозвонила Алёнка.

Всполошилась бабка.

— Колюшка! Да ты чё зверьком-та от нас бегишь? А обед?.. А ужин?..

С деланной весёлостью отстегнул Колёка:

— Ужин нам не нужен. А завтрак будет завтра!

Бабка брошенно припечалилась, проводила его плаксивым взглядом до выхода.

«Ну, — рассвобождённо подумала, — стесняться мне боль некого. Скину-ка я платью. Расчехлюсь... А то вся сопрела...»

13

Забрёл ненастный Колёка к себе в каморку под вечер. Сел на койку и заплакал.

Охая, Топа откинул лапой в сторону умызганную дверную тюлевую занавеску и вбежал.

— Коля, ты плачешь? В Ялте — слёзы?

Колёка подсадил пса себе на колени, прижался к нему и заплакал навзрыд.

— Ко... ля... — растерянно забормотал Топа. — Не выпускай себя из рук. Жизнь... она какая?.. В жизни тесновато... Меня вон тоже поджигает пустить росу. Но я держу себя в лапках. Мы мужики! Надо держать себя.

— Сволота мы, а не мужики! Я — за себя... Я видел сегодня детские глаза. Душу выжгли!.. Ти... Они молчали. Но я-то, подлдятина, слышал, как они спрашивали, и чего это я закатился в Ялту без своих дочек! Они, маленькие, там, дома. Жена одна с ними рвётся на нитки. Зато я кругом в воле, как селезень в воде. На ялтинском пляжу бледный бампер²² поджариваю. Кобелино кудрявый!.. Не могу! Не могу!! Не могу!!!

— Это уже прогресс, — меланхолично подхватил Топа, — раз помнишь, кто у тебя где... Оно, конечно, и невооружённым глазом видеть, что мы, мужичары, препасквильные кобельки при всём при том. Я про себя... Ты знаешь, от кого я сейчас ель живой вырвался? От родного сынули! Вот тут, в соседском дворе справа... Проклятый склероз! Я совсем забыл, что он мне сын. Точней, я никогда и не помнил в суматохе будней, что он мне сын... Было дельце... Попалась на жизненном пути какая-то нечаянная дворянка²³. Я и забыл в беге жизни про это приключеньишко. Больше ту кнопушку и не видел, а сыновец вырос... Я ходил к нему запросто. Вовсе не подозревал, что он продукт моих нечаянных шалостей... И вот лежим сегодня, ветром надуваем друг дружке уши про погоду, про разбойные цены на рынке, про ялтинские бублички. Все вроде мирно... Потом я запел про одинокую горькую старость. Зажаловался на лому в спине, на плохие

глаза... И под плохонькие свои зубы прошу у него кусочек какой помягче... А он чёрт-те что понёс на меня. Как бешеник кинулся и ну с меня живую шерсть клыками драть. Я ору, да в какого ж мерзавца ты вырос. А он: «В тебя! В тебя!!» И тут открывается... Вот сынуля вздрючил. Ни сесть, ни лечь! И не пожалуешься. Поделом!.. Мне тяжелей сейчас, чем тебе. Но я слезой слезу не погоняю. Крепись и помни... Помни мой урок... Отдохнёшь ещё малешко — и с богом назад в родные места, к семье. Поругать поругают, выкатыят на сто лет и простят. Спешит исправиться, пока дочки малы...

Колёка просветлел. Подумал, что у других покруче. Похвалился:

— И малы ещё, и ручки ещё коротки... Пока в оглобелку отрастут, успею, пожалуй, исправиться...

14

Что было, пожалуй, несколько странновато: неожиданно уныло отошла ночь в сарайке.

Без света Колёка уже спал. По крайней мере, так показалось бабке, раз он не ответил, когда она вернулась с лихих танцев-шманцев и окликнула его.

Неслышно угнездилась она и, жалобно охая, всё подгнетала под себя свои ноги, боялась, что они ненароком выскочат жарко на свидание с Колёкиными оглобелками, как было в прошлую ночь. Её вовсе не потягивало, чтоб повторилась прошлая ночь, хотя ещё днём, на море, она горячо только и думала: не беда, первую ночушку так, на разгонку пустим, а уж во вторую подбегем поближь сознакомиться.

Да ночь пусто миновалась, ничего заметного в эту ночь не сварилось. Во всю ночь бабка лише того и вертелась, что почасту полохливо мазала в носу духами.

А утром они проснулись французами. С простуды говорили в нос.

Она ладилась не показать Колёке лица. Очу-жело дала ему свой градусник.

Тридцать семь и пять!

— Хох! — ужаснулся Колёка. — Да где это я простудифилис ухватил? Вот те и Ялта! Курортный пуп!.. Невжель в ингаляшке ухватил? Аппаратишко студёный был... Ти, надышался

холодного... А вы с чего заговорили, как в центре Парижа?

— Сдури, Колюшка... Что удумать надо! Сидеть на пляжу в мокром платье... А с моря сквозило... И нанесло простуду...

— А чего в мокром было сидеть?

— С больша ума! — бабка яростно подолбила себя в лоб кулаком: — Когда в лобешнике нету, из элеватора ума не натаскаешь!

А про себя осудительно подумала: «Я ж, Машка из колхоза «Ромашка», конфузилась при тебе, милостивец, растележиться. Вот и отсидживалась в мокроте на ветрине...»

От духов в носу всё покраснело.

Совестно всё это выставить Колёке. И она полное утро толкалась возле в сарайке, ловчила не повернуться к нему лицом.

Угинала сильно голову, низко покрытую тяжёлым зимним платком, так что он не мог видеть её лица выше зубов.

Всё так же отводя лицо, налепила она ему на грудь и на спину горчичники, приборматывая:

— Наша Дунья не брезгунья, мёд так ложкой жрёт. Скоко ни поставь, увесь утолкая...

Потом отлила ему полбанки мёда из Алёнкиного довольствия — дед Митроша на своей пасеке добывал.

Налепила она и себе горчичников на спину, на грудь; тепло, не по ноябрю ли оделась и повела Алёнку на пляж.

Зуделось бабке сложить ручки да отлежаться, как Колёка.

Но что же с Алёнкой делать? Надо вести на пляж.

Она и повела, всё плотней собирая на груди плащ и пиджак, чтоб под ними да под тремя кофтами горчичные жгучие листики не съехали вниз, не отпали.

Она разморчиво шла и горевала, что пожгла духами всё в носу, перестала ясно разбирать запахи. Как теперь выбирать в столовке еду Алёне? А ну вдруг какая несвежесть поймается в руку?..

День перевернулся на другой бок.

Топа стянул со спящего Колёки простыню.

— Губу кверху задрал...²⁴ Храпит, свистит и прочая... Подъём, засонька!

— То-оп, отвянь... Я весь как побитый. Будто на мне танк лезгинку поплясал...

— Понимаю, болит... А всякая боль ищет врача... К врачам! К врачам надо!

— Ти... Да откуда мне знать, где они эти ваши помощники смерти?

— Я знаю. Вставай. Провожу.

— Может, я ещё бабкиным мёдом да горчичниками отбарабанюсь...

— На жожа худая надёжа.

Переломил себя Колёка, еле столкнул себя подняться и тихонько, впригиб поскрёбся за Топой в поликлинику.

В регистратуре сказали, что врач Логовская обследует приезжих. Так она уже ушла. Будет завтра в вечер. Но вот вам на всякий случай талончик к терапевту Нестеровой. Может, примет.

От Нестеровой Колёка выпихнулся с возом рецептов. Он считал дело сделанным. Со спокойной душой рванул к неостывшей ещё подушке, да Топа и тут подломи его на совсем крохотуленький крючочек с секундным заскоком в аптеку.

Пыхнул малый на собачью назойливость. Однако здравый смысл выхватил в нём верх. Действительно, ну чего охать с рецептами? Не лучше ль обменять их на лекарства?

В аптеке Колёка заискивающе подал в окошечко свои бумажки молоденькой, свежей «козочке». Игриво спросил:

— Чем вкусненьким возрадуете?

— Стрептоцид, сульфадиметоксин... А это... два пузырька календулы...

«Козочка» была предупредительно холодна.

И уже скептически принимал он из точёных ручек свои тоскливые «яства».

— Но в моём наборе не хватает зубровки. А таблетки надо запивать зубровкой. Тогда таблетки крепче берут.

— Кто вам сказал?

— Брежнев. Он все таблетки запивал зубровкой.

— Какой-то маразм... Зубровка — в мавзолее²⁵ на углу. Но не глупите с вашей зубровкой. Это вам медицина советует...

— Но если сама медицина, — почтительно прошептал Колёка, — то я не смею возражать, — поднёс он вытянутую ладонь к виску.

«Всё! Амбец! В постельку! Имею полное выстраданное право, магнит тебе в сумку!...» — Колёка твёрдо взял курс на свою резиденцию.

Нудяга Топа и тут сшиб его с толку. Уверил, что таблетками да полосканиями в долготелели не проскочить. Надо хоть разок горячего поест. Как говорят одесситы, неужели пообедать их уже не интересует?

И притащил его Топа в столовку на набережной у театра, где Колёка раньше уже ел.

Взял Колёка борщ. Спросил раздатчицу, с мясом ли он.

— Вы что, неграмотный? — всплыла та на каприз. — Читать не умеете?

— Про мясо в меню я читал. Теперь, — погонял в тарелке ложкой, — хотел бы в вашем присутствии натурально свидеться с ненаглядным мяском.

— Моё присутствие ничего не прибавит, а потому и не обязательно! — рубнула раздатчица и крикнула в шипящую в парах глубь кухни: — Оля-а! У нас борщ с мясом?

Недра кухни безмолвствовали.

За столом Колёка навалился визуальнo изучать свой борщ. Он пристально смотрел в тарелку. Снайперским проходил глазом сантиметр за сантиметром.

— Ти!.. — поражённо бормотнул. — Вижу цель! Но почему она движется? В борще живое мясо? Муха.

Поднёс тарелку Топе.

Топа деловито заглянул в тарелку и перенёс скучный взгляд на потолок.

Жалко было Колёке выбрасывать рубляшки на ветер. Колёка обречённо подмёл борщ и шницель из одного старого хлеба и, как ни странно, твёрдо подошёл к кассирше. Вопросил со своей двухметровой выси:

— У меня в борще не было мяса. Но зато была муха. Замените.

— Не можем. Нет у нас больше мух.

— Тэ-экс, дожили... Ни мяса, ни мух... Богато живём! Тогда... По какой калькуляции вы берёте стоимость борща? Пожалуйста, покажите калькуляцию.

Кассирша, что нависала белой скалой над своим аппаратом-погремушкой, без единого звучочка ласково вернула какие-то дохлые копеюшки за отсутствие присутствия мяса. Даже поблагодарила:

— Большое спасибо, что сказали. Мы этой Оле — выговорешником по мозгам! Она там, — мсти-

тельно бросила глаза в затянутую тугим паром даль кухни, — из штанишек выпрыгнет!

Колёка был страшно доволен, что наконец-то прошиб этих столовских, и возвращался домой уже в добром настроении.

Ему нравилась набережная, бело залитая людьми. Нравились весёлые облака, что наезжали на дальние горы. Вчера тоже наплывали, да посидели, посидели на горках и ушли.

Уйдут и сегодня!

15

Дома Колёка сказал Топе:

— Я больной. Ты здоровый. Поэтому я царь, а ты мой раб. Вот я лежу на отходе, а ты разные травы мне показульки, покудушки не дам я храпунца. Служи!

Топа послушно встал на задние лапки, сложил передние на груди.

— Слушаюсь, мой достопочтенный повелитель, — начал он. — У меня этих разностей лопатой не прогрести. Вот... Ага... Про Менделеева без таблицы... То есть известный Менделеев. Известный тем, что увидел во сне таблицу. Теперь вот, пожалуйста, человечество с таблицей. А мой не увидел. Потому без таблицы. Потому и неизвестный... Он учёный. Химик. Невезучий... Мне его откровенно жалко...

Какой-то он весь маленький, затрапезный, обиженный. На работе никакой везетени. А в личной житухе, с женой, и вообще полный завальный прочерк. Не подвезло с женским вопросом.

Надо зайти с самого начала. Со знакомства с Менделеевым...

Я жил в Кускове. Недалече так от парка. У дома наша Рассветная аллея — были ж у улиц красивые имена! — гнулась в колено. По ту сторону улицы пробрызгивали наблёщенные нитки железной дороги и дальше, за мостом, открывалась уже Чухлинка.

Ну, жил я и жил. И вот моим хозяевам выщелкнулась квартира в новом доме. Этот, в Кускове, домишко — под снос. А в новом дали. В новый меня брать не разлетелись. Но и не захотели, чтоб мотался я по свету побирошкой бездомным.

Сам поволок меня в ветеринарку. Сам владыка. Всё идёт своим порядком. Владыка тащит, я упи-

раюсь. Всяк занят своим делом. Ну, кто особо горит в молодые лета уйти пускай и в лучший мир?

Упираюсь я, упираюсь. А живодёрка всё ближе, ближе. Сам всё распалается на моё упрямство, распалается... Я и смекни. Побегу-ка я смирно. Пускай он мою покорность примет всю до донышка. Пускай угомонится и без оглядки дует в живодёрском направлении.

Подорожником легло к душе владыки моё смирение. На меня ноль внимания. Я и займись делом. Перегрыз кожаный поводок. Уже у самых у живодёрских ворот выдернулся на волюшку вольную...

Года два трепался, как осиновый лист. Бродяжил... Узнал, почём сотня гребешков. Кормился всё больше голодом... То у столовки или у магазина подежурю, сердобольная душа какая и одарит кусочком. То на помойке что выхвачу...

Однажды летом накопался я досхочу в собачьем пруду. Жара. Благодать. Лежу я под кусточком, благоденствую... И так мне славно, и так придавило меня счастьем, что я на радости авкнул и выскочил из-под куста, кинулся вслед за просквозившим мимо велосипедистом.

Побежал я так — абы размяться на радостях. Лечу со всех лопаток, в нитку тянусь. А нагнать нет меня.

«Товарисч! — крикнул прохожий вдогонку Менделееву. — Что ж вы так молнией летите? Ваша тявкуша за вами не поспевает!»

Менделеев дёрнул плечом. Остановился.

Ужимаю я голову и, повинно помахивая хвостом, побрёл к нему.

Шага за три плюх на живот и пополз. Подполз, сел. Не подымаю глаз. Подал ему лапу.

Он взял мою лапу, в печали прижался к ней щекой. Я посмотрел на него и понял, что он такой же одинокий, такой же несчастный, как и я. Позже как-то Менделеев проговорился мне, что запечалился он тогда от внезапно примкнувшей к нему мысли про то, что к злому человеку никакая собака первая не подойдёт.

«Ты хочешь со мной в дружбу войти?» — одними глазами спросил Менделеев.

Я постучал по земле хвостом. Он как-то озорённо подкинул меня на багажник, уложил передние лапы на сиденье. Держись!

Во мне каждая жилочка облилась потом. Так высоко я никогда не восседал.

Придерживает он меня одной рукой. Другой осторожно ведёт велосипед. Сам вышагивает рядом. Думал, вот-вот свалюсь чуркой. Но бог милловал, удержался я за сиденье.

Сызбоку он долго катил свой костотряс. Я гордовато восседал на багажнике и цепко держался за сиденье. Под конец страх совсем отпустил меня. И до самого его дома добрались мы без происшествий.

Он дал мне хлеба, колбасы, молока. Что ел сам, то и мне дал.

Пока я ел, он нагрел в толстомордом чайнике воду. Вымыл меня в тазике.

Удивляюсь, зачем ему всё это нужно было? У меня тогда видок был — без слёз не взглянешь. Бок вышпарен кипятком, почти весь я облез. Весь то ли в коросте, то ли в лишае ползучем, то ли ещё в какой заразе...

На новый день Менделеев привёл собачьего доктора. Доктор выписал мазь. Стал Менделеев мазюкать меня той вонючкой. Вскоре всё моё тело было чисто. Он назвал меня Байкалом.

Так звали старую собаку хозяйки, у которой мой Менделеев купил комнатёху. Байкал давно умер, но будка ещё уцелела. В ту будку Менделеев и определил меня.

Будка была сама ветхость. Протекала. Менделеев подселил меня к себе на веранду, прорезал внизу двери для меня лаз.

Вообще, Менделеев толковый мужичина, прочно стоял на земле. У его калитки раньше гнила помойка. Сколько просил соседей больше не лить ему под нос! А ему всё лили, всё лили-подливали по старой накатанной памяти.

Тогда Менделеев развернул на помойке огородишко. Понатыкал клинышки картошки, помидорчиков там, огурчиков...

Засовестились лить на огород. Помойка пропала.

И любил он подсолнухи. Сажал под окном. Сажал корней двадцать в разное время.

И потом всё лето ему золотом светили в окно крупноголовые солнца.

Он откупил, как я сказал, одну комнатку. Вход был через хозяйкины апартаменты.

Хозяйка, одинокая старая бестия, всё подшучивала: «Вход через перёд хозяйки!»

А надо сказать, похабь Менделеев под любым соусом не терпел. И в одно из своих окон вставил

дверь. Ножовкой прорезал бревнышки толще себя! Одно бревно — сидело над окном — неожиданно выпало. А Менделеев резал нижние брёвна. Задело упавшее бревно Менделеева лишь за ухо и благополучно ухнуло сбочь. Всего в каком сантиметришке просквозила смерть... Иначе б я никогда не встретил своего Менделеева...

Каждый вечер я подбегал к электричке, встречал его с работы. Как поужинаем, и укачиваемся гулять.

16

Через какое-то время и Менделееву дали квартиру в новом доме. Но не бросил меня. Так и с собой взять не мог. У него месячные командировки. На кого кинешь меня? И всё равно не потащил меня в живодёрку. Пустил на все четыре ветра.

Гуляй! Авось господь сведёт!
И свёл.

Столкнулись мы глаза в глаза года через два на Зелёном проспекте и больше не разлучались.

На ту пору мой Менделеев как раз женился. И уже было ему на кого меня оставлять.

И посмотрелся же я! Ох, люди...

Только мой бедный Менделеев за порог — у жёнушки кавалеристов полк! Менделеев знал, что его лада порядочная изменщица. Однажды он улетает на лечение в санаторишко и даёт мне листок. «Вот тут вся правда, — показал на листок. — Как только у моей... возле моей непорочницы затокует какой бугор — бегом эту бумажку на почту. Это телеграмма. Мне».

Я сделал, как было велено.

Телеграмма страшная. Не решились отдавать Менделееву сразу.

Понесли на согласование к главному врачу санатория.

«Умерла жена тчк приезжай похороны тчк Тимофей Волкодавов тчк»

Прочитал это главврач. Видно, так и решил: «Ну вот вручи такую телеграммочку — ещё одна смерть гарантирована. А вдруг там что напутали? Пускай-ка уточнят. А мы тем временем хоть немного подготовим Менделеева...»

И пошла назад телеграмма Тимофею Волкодавову: *«Сообщите зпт когда похороны тчк»*

И получаю я её, — а надо заметить, Тимофей

Волкодавов — это я. Так между нами Менделеев звал меня. Не конфузья-де, дворяна, будь волкодавов! А Топкой Менделеиха меня окрестила. Говорит, для Байкала я недоросши...

Так вот, получаю я эту телеграмму. Развожу лапами. Телеграфирую открытым текстом: *«Похороны отменяются вскл доступ к телу продолжается вскл»*.

Про похороны Менделеев так ничего и не узнал.

А между тем жизнь его всё быстрее и быстрее катилась под уклон. Здоровьишко осыпалось, как осеннее дерево в заморозки. Всё чаще залетал он в больницы, и что самое горькое, вылечит одно — возвращается оттуда уже с завязью в себе новой беды, что крепла на воле и снова выживала его в скорбный дом.

Как-то поскользнулся он в магазине на разлитом по полу майонезе. Больница. Уже долечивал сломанную в коленке ногу — начал по утрам втихую прикашливать.

Сказать про кашель врачу застеснялся. А! Мелочь! Усохнет.

Дома — температура. Позвал врача. Лихой коновал Таранченко успокоил. Ничего страшного. Пройдёт. Побольше пей тёплого, горячего.

Пил. Жар усмирил. А лайкий кашель всё так при нём. Он бегал в поликлинику как на работу.

Там передразнивали его кашель, язвительно смеялись. Кончай тереться-мяться! Кончай сбивать баклуши! Сидяка!.. Не манит тебя работа, вот всё и выскиваешь по кабинетам липовские хвори.

Но когда по команде горздрава его обследовали в боткинской, в районке поприжали хвосты. Диффузный двусторонний атрофический бронхит! Это по науке. А по-нашему — радости мало.

Его лечили. Лето кой-как перепрыгнул воробейка.

А осенью мой Менделеев совсем закис. Только выпишут в работу — через три дня опять отбой. Припев старый. Кашель. Озноб. Разбитость. По вечерам температура забегает за норму.

17

Я вызвал из дому неотложку. Должен был приехать Таранченко. А приехала молоденькая терапевтичка, раза два её видел. Ласковая, обхо-

дительная, так в душу и вьётся. Послушала. Выписала что-то. Сказала, чтоб при необходимости шлёпал прямо к ней безо всяких.

Это меня смутило. Ещё больше смутило то, что она с дальнего подхода отговаривала ходить в соседнюю поликлинику. И у нас-де по нервам не хуже. Сами с усами! Если-де что, справимся!

Я ничего не понимал. Какая-то смутная тревога холодно охватила меня. Я уставился на врачаю как баран на подштопанные ворота и молчал. Тут она под большим госсекретом отшептала: «В шестьдесят девяную — ни ногой! Иначе загремите в психарню имени Пети Кашенки! Но я вам этого не говорила!»

И возложила игривый пальчик на тонкие губки. Ушла.

«Ох так штука... — загоревал Менделеев. — Вот уже и доехал до... Довоевался на доблестном медфронте до принудительной психушки!.. Странная петрушка, однако!»

«И в голову не бери! — говорю ему. — Ни петрушки, ни укропа! И никаковской психушки-психодрома. Что ты, или какой правозащитник? Так не похож... Чего на тебя психлекарства переводить? Может, это она так, для согрева ляпнула? Чтоб проникся почтением к ним? А не будет смирения твоего, можем, дескать, и упрятать для вечной сохранности кой-куда подальше. Дай-ка сюда это весёленькое направленьце к психу...»

В направлении так писалось о моём Менделееве: *«Учитывая жалобы больного и объективную причину, выраженный тремор рук, раздражительность, считаем, что в настоящее время имеет астено-невротическое состояние. Необходима консультация и лечение психотерапевта».*

Врачи-с... Ну гиппократишки! Ну подручные смерти!.. Ни стыда, ни тем более совестишки. Зачем они сляпали эту пасквильную пустобайку? А чтоб их черти горячим дёгтем окатили!

От народец! Да как же вы посмели ни за понюх табаку вывалить в грязнотище невиннейшую, чистейшую душу?!

Менделеев не то что муху не обидит — косо на муху не глянет! А они, пирожки с молитвой...²⁶ «Эмоционально сесебилен, тремо-ор рук... раздражительность...» Да хоть кому прищеми хвост — бивни враз оскалит! Что ж, по-ихнему, ты мне в рот палку пихай, а я радуйся ей?

Вышел я в бундесрат, подумал думушку на горшке, кинул то направление в унитаз и дёрнул грушку.

С горячих глаз Менделеев чуть было не съездил мне по мордасам.

«Ты что утворил! — кричит. — Где я буду лечиться?»

И такая меня боль сжала, что я тоже крикнул: «Да они взяли тебя на зубок! Спихнизмом занимаются! Лечить сами не лечат, спихивают под милым предлогом в соседнюю поликлинику. А те своим соседям. В шизиловку!»

18

Хмурый Топа задумался.

— Да все мы, — вздохнул он, — стоим на одной доске. Только стоим, как говорится, неровно. Торгашик не успел обвесить на двадцать грамм гнилой морковки, как уже читает о себе фельетон в газете. Со скандалом торгашика уволят. Но вот эскулап исхитрился заслать здоровячка в морг — всё тихо-мирно списывается по негласной графе утруска. Если ты не понравился торгашу, большее, что он сможет, недодаст тебе пяточок или метнёт тебе погнилей картошки. Всей и беды! Но боись разгневить медика. С ангельской улыбушкой пропишет такой радости, что, может, сразу не откинешь лапоточки. Зато до-олго будешь сомневаться, что живёшь.

— Кончай поклёпничать! — Колёка саданул кулаком в ладонь. — Не смей и сравнивать врача с торгашом. Это оскорбительно!

— Для врача?.. А то его не оскорбляет, что перед операцией берёт расписку с больнуши? Прирезал и щитком-расписочкой прикрылся. Он был весь согласный на смерть! Я не виноват! Вот расписка! Да уже этой дурацкой бумажонкой он, хренов психолог, твёрдо укладывает человека в гроб! Ну к чему эти расписки? Не можешь — не лезь к страдалу с ножом. Отойти. Уступи могущему.

— Намолотил!.. — кипятился Колёка. — На трёх возах не вывезешь! Да что тебе операция — яблоки отпускать?

— И яблоки, и операция — будняя работа, — пояснил Топа. — С тебя же продавец не вытягивает расписку, когда вешает тебе яблоки? Продавца готовят полгода. Чему же шесть лет

учат врача? Работать бэз брака? Бэз?! Или брать одни расписочки? Совать, как Таранченко, больному кулаки?

— Иха! Вельможной светскости захотел... — возмущался Колёка. — Да ты представляешь, какие у них условия? По норме на осмотр больного отведено двенадцать минут. Тут и поздоровкаться некогда!.. Пашут, пашут... Как мышки сидят с утра до ночи! А ставки?.. Слёзки! Не мудрено, что здоровьишко укупишь только за мани-мани в платной поликлинике.

— Ну-у... Это ты с чужого голоса кукарекнул. Ты много накопил? Лично вот ты? В платной платят за то, чтоб аккуратненько, по кусочкам вырезали твоё здоровье у тебя же. А в обычной вам делают это бесплатно и по возможности сразу. Без митинга.

— Ти, — припечалился Колёка, — бесплатное лечение — это вообще дарённый коник, которому в зубы не смотрят. Слушай! — перебил тему Колёка. — А где этот твой геройчик схлестнулся с Таранченко? Из-за чего весь сыр-быр?

— У, — махнул лапкой Топа, — завязь самая пустая... Посеял мой Менделеев больничный. Ну с кем не бывает? Принёс из бухгалтерии бумагу, что больничный к оплате не представлялся. Ну и спускай команду, чтоб выписали новый. Так нет. Таранченко давай начитывать моральки. Давай воспитывать. Давай орать. Давай топать. Менделеев и отстегни вежливенько: «Что вы кричите? Чего притопываете? Себе ж в убыток... Голос сорвёте. Башмачки размолотите». — «А! Так ты ещё издеваться?! Ну! Я тя подловлю! Ты у меня, как воробей в кулаке! Я те покажу, почем сотня гребешков!..» Вот и показывает... И в эти свои показательные игрища впихнул весь свой наличный подотчётный штат. Особь пластались участковые терапевтики. Ну как не подслужить начальнику-бугру? Одна подловила Менделеева так.

Был он на больничном. Дала ему талон на время, когда её в поликлинике уже не будет. Приходит он к талонному часу — её, понятно, нет. А на следующий день она всаживает ему в больничный невяку на приём.

Воссиял Таранченко. Срочно кликнул громко-показательную комиссию-суд над злостным нарушителем режима.

Еле отбарабанился Менделеев. Он же был в «прогульный» день на уколах. В процедурном

всё зарегистрировано. И главврач исправила горячую запись в больничном. Обрезался наш Таранок!..

А ещё... Это уже с бледноносой поганкой со щучьими глазками. С Шелгуновой Ириной Михалной. Была такая Ируся.

*Ируся, Ируся, в слезе
Гляну на тебя — обревуся!*

Только из института. Вторую работала неделю... Придёт к ней человек на приём. Из последних сил поклёпничает на своё здоровьишко. А она и не знает, какой тебе диагноз прилепить.

Одним ухом слушает, а сама... У неё в верхнем ящике стола лежал справочник. А сама в лихорадке справочник листает. Шелестит, как мышь в копне! Ну чисто тебе на экзамене. К твоим словам ищет диагноз тебе в книжке. Умереть мало!

Вот такая хирургесса за операцию возьмётся. Развалит страдалика надвое и бросит свои ножи-вилки. Присядет в уголке с книжкой! Надо ж почитать, что делать дальше!

И вот эта ненаглядная Ируся на второй неделе свой бледный нос повернула уже по ветру. Наверно, на этом ветру он облупился...

С больничным входит к ней мой Менделеев, а она вся из себя неприступная Брестская крепость, в спесивом пике: «Я не принимаю. Я на комсомольском собрании. Меня здесь нету. Я вся тама!» — «Как же тама, когда вся и здесь, — шает под неё Менделеев. — И времечко у вас рабочее... Собрание, небось, об улучшении обслуживания больных?»

Молодая да ранняя Ируся с жестоким насилием над собой запускает себя в гранд-истеричку с участием слёз. Вот так, во мхатовских слезах, летит к Таранку, до смерточки пыжится в беге донести до него и не расплескать хоть напёрсточек дорогих слёз! И попутно скупое дезинфицирует коридор²⁷. Пускай все, все, все видят, до чего довёл её больной дикарь!

Опять комиссия-суд.

Ну, про эту ты уже слышал. Это когда закрыли больничный при температуре тридцать восемь и четыре.

Бедный мой раздушенька Менделеев... Эсколь вынес, эсколь претерпел... Это ещё не всё. Вся гнусь впереди...

Значит, ломали, ломали его Таранок на пару с Шубиной. Не ломается! И, похоже, запросили горяченького подкрепления. Вдруг моему Менделейке звонок: «Это психотерапевт из 69-й. У вас направление ко мне. Почему не являемся?»

«Не понял. Кто к кому не является? Вы ко мне или я к вам?»

«А вы сомневаетесь, идти не идти? Как видим, само ваше поведение однозначно. Идти! Да не идти, а бежать! И чем скорей, тем лучше! Вы направление читали? Чёрным же по белому: «Необходима консультация и лечение психотерапевта!»

«А разве я нуждаюсь в лечении психиатра? Я пока нормальный».

«Хэх! Все люди нормальные. Только одни стоят на учёте, а другие — нет».

«Значит, берёте на учёт, ставите на свой баланс? Я так понимаю... Вступительная лекция ваша. А лечение уже Кашенки?»²⁸

«На месте решим».

«Ну и решайте. Без меня. У вас какие-то дела с моей поликлиникой... Зачем я вам третий лишний?»

Минут через десять звонок уже в дверь. Глянул Менделейка в глазок — так и присел. Два бизона под потолок! В белых халатах. Скорая?

«Кто такие?» — «По вашему вызову».

«Мальчики по вызову? Я не вызывал. Тем более сразу двух. Явный перебор. Ваши фамилии?»

«Сидоров!» — дурашливо отстёгивает один.

Второй молчит.

«А второй? Иванов? Ищите третьего? Петрова? Я не Петров!»

«Значит, будешь Петровым! С тобой только что говорили по-людски. Но ты... Или сам открывай. Или мы, извини, ломиком поцарапаем тебе дверку».

Тут Менделейка хватается топор — под случай всегда стоял за вешалкой в прихожей.

У дверного глазка стучит костью пальца по топору:

«А я вам острым топориком без извинений развалю причёски».

Тут один толкает второго вниз по ступенькам. Дуй в машину за ломом!

Что делать? Звать по телефону милицию? Пока приедет... Да кто и приедет? То ли чистокровная милиция? То ли к переодетым под

врачей бандюгам прискачут такие же бандюги в милицейских фраках?!

Менделейка с топором — на балкон.

Орёт во всю глотушку:

«Пом-могите!.. Ко мне рвутся переодетые под врачей скорой два бандита! Видите! — показывает на машину скорой у подъезда. Как раз второй отходил от неё к подъезду с ломиком. — В-видите? Это он идёт потрошить мою дверь!.. Сверху врачи! А нутро — бандиты с ломом! Пом-могите!.. Первый подъезд!.. Четвёртый этаж!..»

Что тут началось!

Лето. Предвечерний в солнце час. Весь народишко от скуки изнывал на балконах.

И тут такое сообщение ТАСС!

С балконов полетело в машину всё, что могло летать! Всё, что подскочило под осерчавшую руку. Старые, в ростках картофелины, лыжные палки, какие-то чурки, ржавые чунки-сковородки...

Хрустнуло лобовое стекло. И народ, будто пришпоренный звоном разбитого стекла, хлынул в дом. У одного в руках кирпичина, у другого — полено... В минуту площадку четвёртого этажа туго забило, как бочку килькой.

«Тов-варищи!.. Господа-а!.. Дамы!.. — запросили пардону белохалатники. — Что за военные сборы? Не мешайте, пожалуйста, медикам!.. Мы на работе! Как-никак...»

«Белый халат и ломик — это ваша работа?»

«Не лезьте! От греха подальше!» — пригрозил ломик.

«Вот именно. Подальше!» — раздался твёрдый голос с площадки пятого этажа.

Все метнули туда взгляды. Сверху на них деловито смотрело дуло охотничьей двустволки.

«С ломиком марш на улицу. И ждать, пока не подъедет милиция!» — велит из-за дула сосед сверху. А пальчик на курке! Нервный. Сердится.

И все разом поскучнели. Комедия кончилась так же быстро, как и началась. Милиция взяла в конвой скорую. Поехали.

И Менделейка поехал. Тут же умчался к брату в воронежскую глушь. И полгода там отзвонил, пока не рассеялась чёрная тень психушки...

19

*Отдых на море укрепляет здоровье,
но расшатывает мораль.*

Джангули Гвилава

Единственную комнатку снимали у Капитолины три шнырика. Сама она летом жила на кухне.

В назначенный день парни не уехали. Сказали, что не успели добыть билеты. Напросились ещё на три дня.

Убежали и эти дни. А с ними и парни. Уёрзнули впотаях. Не заплатили за продлёнку.

«Зевнула... — подумала Капа. — Учю, учю себя и всё никак не научу, что бабульки надо брать вперёд!..»

Расстроенная Капитолина вбystрую глубоко и всесторонне убрала в комнате — по обычаю, убирала она комнату жильцам всего-то один раз, перед вселением, толкнись те хоть на неделю, а хоть и на весь месяц, — и уже в сумерках шатнулась в сарай.

Вся троица — бабка с Алёнкой и Колёка — лежала без огней. Затаилась. Думала, что это сам контроль грядёт.

— Напугались? — хохотнула Капа. — А это всего-то лишь я... Остонадоело. Ох и остонадоело вам в сарайке! Утром до семи сгинь. Вечером раньше ночи не возникни... С чёртовым контролем не подерёшься. Не даёт отдыхающих по сараям рассовывать... Ну да что было, то сплыло. Переезжаем, мирянчики!

Бабка с Алёнкой хрюкнули на восторге, с пустыми руками шепотно кинулись в комнату. Главное, ухватить лучшие койки, а переправить чемоданики можно и потом!

Колёка сразу взял всё своё. Два пузырька календулы, один уже наполовинку пустой. Левая рука была у него свободная, и во дворе он подхватил кошку. Чёрной, разморенной ветошкой валялась та на ступеньках. Всё-таки новоселье. Кошка должна первая войти в дом.

Колёка обогнал Капитолину. Мягко стряхнул с руки кошку на порожек.

Кошка тут же меж ног выбрызнула на улицу.

А тем временем бабка с внучкой уже подскакивали на самых больших койках. Кричали в один голос:

— Это наши! Это наши! Мы от дядь Коли никуда!

— Нет, — сказала Капа. — Дядь Коля один будет в этой комнате. А вы, зайчики, сдайте назад. На веранду.

В Ялте почему-то прихожую называют громко верандой.

В прихожей была одна съёжившаяся коюшка, задрнутая цветастой ширмой. Бабка с Алёнкой убито поскреблись за ширму.

— Не врублюсь никак... Не понял юмора... — пробормотал Колёка. — Три койки... Что... Зачем мне одному такая хоромина?

— Большому кораблю — большое плавание! — Капа задрала голову и не могла оторвать восторженных, горячих глаз от двухметрового Колёки. — Не переживай. Знай плавай!

«Новоселье надо обмыть», — подумалось Колёке.

Потирая руки, дураковато гаркнул враспев:

*— Что-то ветер ду-ует в спину,
Не пора ли к маг-газину?*

Он выскочил.

Скоро вернулся с вином и кое с чем к вину.

Потряхивая бутылку, ударился в речи:

— Ну! Выпьем за то, что, несмотря ни на что, мы пьём во что бы то ни стало!

При вине Колёка угарно чумел.

Уже через полчаса смахнул с себя рубаху. В майке выкатился во двор. С приплясом ересливо прошёлся под окнами:

*— Я с-свою соперницу
Отвезу на мельницу.
Измелью её в муку
И лепёшек напеку!*

Будто ветром захлопнуло все расплёснутые настежь двери. Кое да где погас свет. Помертвели окна.

Колёке тесно на земле.

Возложил лапищи на край кухонной крыши. Поднял себя на крепких хваталках. Эффектно вспрыгнул на крышу.

Больной кураж подпекал его. В пьяном пике наладился он отбивать чечётку — рухнул в тартары. Выполз опять в только что проломленную

в шифере дыру. Помято сел на загоравший на крыше перевернутый бесхозный старый унитаз.

Выдержал с достоинством паузу, выкинул вождисто сановитую руку. Подмыло с подвоём читать стихи.

— *Сижу я один
На краю унитаза,
Как горный орёл
На вершине Кавказа!*

Громогласного Колёку услышала улица. Полилась во двор. Въехала за компанию и хмелеуборочная. Дежурный милицейский луноход.

Хмелеуборочная остановила свет на Колёке.

— Ти... За подсветку благодарствую! Но где долго не смолкающие апло... дис... мэнты, не шутя переходящие в бурную, извините, овацию? — вставая, поджигательским голосом спросил Колёка.

В следующее мгновение двое из толпы бережно опустили Колёку в руки ментозавров. Те бережно повели его к машине. Встречно открылась дверца. Её чёрный простор закрыла собой, крестом раскинув руки, Капа. Невесть откуда и выдернулась!

— Н-не д-дам!.. Н-не п-позволю!.. Т-только ч-через м-мой т-труп-п!..

Усталый голос из машины:

— Берите и труп. В аквариуме²⁹ места хватит и этой рыбке.

Из недр машины её вежливо приняли под мышку. Осторожно втащили на крайнее сиденье.

В луноходе Колёка как-то разом сварился.

— Не м-могу... Спать хочу... Голова в штаны падает...

Он заметно сбросил куражливые обороты. Еле выбормотнул:

— Зоркость глаз и твёрдость духа

Придаёт нам бормотуха-а...

И всё. Заснул. Как отрубил.

В отделении, как ни тёрли ему уши, как ни трясли, — не проснулся.

— Не тиранствуйте над человеком! — всплыла на дыбки Капа. — Я от-т-твечу... Ну... Врезались в винишко... Ну и что? С горя, граждане! У меня горе на горе намазывается... Как масло на хлеб... Горе на горе... Горе на горе... Отдыхающие-зды-

хающие сбежали и не заплатили... Крючки... Ну не горе?.. С горя съездили в Бухару...³⁰ Приняли маненько... По красненькой на носик...

— Оч-чень мало... Ваше имя, отчество, фамилия?

Сказала.

— Адрес?

Подвигала плечом:

— Крым!

Показали на Колёку:

— А он где живёт?

— У меня на квартире.

— Кто он вам?

— Кто же... Квартирант... Не верите? — Капа живо-два подняла Колёку в ранге: — Н-ну... муж... Муж! Муж вас устраивает?

Их оштрафовали на сто рублей и отпустили.

Была уже глубокая ночь. Город спал. Спало и море; сонно ворочалось у берега чёрным медведем. Долго брели они молча. Тупо пялились под ноги.

Первым не вынес молчанку Колёка. Понуро глянул на худую слепую луну-беспризорницу с острыми рожками. Постно приобнял за плечо Капу.

Капа не воспротивилась.

Колёка тоскливо зажалобился:

— *Весь город спит.*

Не спит одна тюрьма,

Она давно проснулась.

И больно, больно сердце заболит,

Как будто к сердцу финка прикоснулась.

Дёрнулась Капа, сошвырнула с плеча его тяжёлую прохладную руку.

— Закрыл бы свою пустоговорилку... И чего нести такую бурость? Где сору-то этого насобирал? Откуда у нас тюрьма?

— Всё равно это дело не меняет... Накрывать таким наглым штрафом... Чтоб я ещё хоть разок покеросинил?.. Ни-ни! Ни каплюшки! Отныне у меня неизлечимое ОРЗ!³¹

— Обещаешь ты горячо-о... И на том спасибо.

— Пожалуйста! — в поклоне приподнял Колёка воображаемую шляпу. — А я с претензией... Удивительное у вас отношение к почтенным гостям города... В трибунал мчали с комфортом на пер-

сональном везуне... Накололи на столыник — и шварк на улицу. В глухую ночь на одиннадцатом номерке чеши до хаты. Никакого почитания!.. За собственную стошечку! Так лопухнуться... Ну да обезьяна тоже с дерева падает...

— И часто? — подкусила Капа.

— Разно...

— Не пойму... Лукавый ты или с бусырью?

Колёка повинно усмехнулся:

— Помесь я, помесь, Капи.

— Спасибо за откровенность. А я, кулёма, всё думаю, что это на него ментура действует как самое крепкое снотворное. Как всунули в воронок — сразу погасил фары³² и отбыл в храп. Никакими пушками не разбудить!

— Никакими! Уж если подался я в Сонино, так это прочно. Лев спит по двадцать часов в сутки. А я могу все двадцать пять!

— Уда-арничек, уда-арничек... А я сегодня с прибытком... Те купоросные черти умкнули двадцать семь рыженьких да ещё родная ментовня на сотняжку в придачу натолкалась. С прибытком, с прибытком...

Колёка ухватил, что штраф Капа полностью берёт на себя, и благодарно пришатнулся щекой к её виску:

— Не горюй... Не сорок первый... Переживём. Не всё счастье в осликах!³³

— Ну, а без осликов кто-нибудь доезживал до счастья?

— Дохаживал! — дуря подкрикнул Колёка и свернул в свой двор.

Во дворе Капа пошла к себе за белую, простынную ширму под кухонной крышей. Пошла вызывающе спокойно, будто была одна, даже не повернулась в улыбке, которую ждал Колёка, даже не махнула в прощанье рукой, даже не сказала стёртых обязательных при расставании слов.

Это резануло Колёку: «Ладноть. Ты мне... Ищешь на грош пятаков? Цену набрасываешь? Набрасывай! Тебе ж, сексокосилочка, и платить! Всяка кошка скребёт на свой хребёт!»

Он ладился не разбудить бабку с внучкой. Узко приоткрыл дверь. Не дыша, вжался в прихожую.

Постоял, послушал, как жертвенно вздыхала во сне бабка; философски подумал, если уж вешаться, так на толстом, на высоком дереве, и на

цыпочках втихаря подрал за белую ширму под кухонной крышей.

— Ты чего, двубровый орёлик³⁴, здесь забыл? — вшёпот насыпалась Капа, обстоятельно подтыкая простыню под свои круглявые, как поварёш-ка, бока. — Давай-но, давай отсюда!

— Не могу я давать отсюда... Ти... Я даю только сюда... Разве руки гнутся от себя, а не к себе? Особенно, когда орехи звенят!³⁵

— Какие ещё орехи?

— Грэцкие! — хохотнул Колёка. — Извини, Капа. Но тут я по праву мужа.

— Как-кого ещё мужа?

— Того самого, про которого ты самому трибуналу докладывала.

— Так ты там не спал? А чего ж молчал как партизан?

— Ти... Это моя маленькая хитрость. Без хитрости мир бесполезен... Как это народная мудрость гласит? Кажется, «нормальные герои всегда идут в обход»?.. Я и пошёл... Был гадкий неподходящий момент... Такое дельце лучше заспать. И я его заспал.

— Опаньки!

Она в сердцах шлёпнула его по щеке:

— Так бы и размолотила твою сучью будку! Но погожу... Может, ещё сгодишься в хозяйстве... Ой, гумозей, ты и ловчила! Ой и ловчила!.. И без кровельных работ³⁶ до этого дотумкал?

— Без...

В дальнем сарае брякнула щеколда.

Сейчас какая-нибудь сонная тетеря порысит мимо в уборную. Увидит! Разнесёт по всему двору ещё в затеми! Карга ещё дерьма не клевала, а про нас трубы уже поют!

Капа стукнула Колёку в колено.

— На секунду приляжь, чимчигрыз!³⁷ Ух и чим...

Колёка запечатал ей рот поцелуем... и проснулся уже поздним утром, и то лишь оттого, что кто-то спросонку развесил на его палках ног, далеко торчавших меж прутьев койки под кухонной крышей, сушить холодные плавки.

«А-а! Заступиться вчера перед ментами их нету! А плавки на мне сушить — пожалуйста? Делать из иглы верблюда?»

Он с чувством скovyрнул плавки на асфальт. Выглянул из-под ширмы.

Капы не было. Где же она? Вот здесь же лежала, куда сбежала? На работу? Умнёшка, умнёшка... Моя женьшеничка добывает на прокорм. Мужилка честно помогает есть. Чёткое распределение обязанностей! Всё путём... Всё в духе веяний дня...

Колёка блаженненько потянулся на хозяйской койке. Прислушался.

Шаги. Нарастают. Топают целое стадо.

20



Патнулась ширма.

Капа забегала за неё, плюхнулась Колёке на ноги.

— Малышок! — защebetала птичкой. — Хоть тебе и два метра счастья, но для меня ты отныне малышок, мой «мужчинчик со знаком качества»... Малышок, я вчера лягнула в хомутке не подумавши... про мужа... Кажется, ты ухватился... Факт свершился. Мы муж и жена. Почти... Поскольку люди мы деловые. Не можем при наших вчерашних прогарах терпеть дальше убытки. Как порядочный муж ты спишь при жене. Здесь... под ширмочкой. А комната пустует? Вот этого не надо! Природа не терпит пустоты. А разве мы глупей природы? Никакой нам пустоты не надо! Совсем не надо!.. Ясненько? Усвоил?.. Поэтому я чуть свет слетала на троллейбусную станцию, приплавил квартирашек. Целую троицу! Ни часа простоя! Это мой девиз... Счётчик самодуром мотает нам капиталики... Живые... Ослики бегут к нам... Бегут...

— Ти! Пускай бегут! — согласился Колёка. — Ворочать и не подумаем!.. Некогда! А я, баран, чего думал?.. Вот баран! Ты моя жёнка... Так как зовут жену барана?

— Ба-ра-нес-сса-а! — проблеяла Капа, закрывши лукавые глазки.

— Поёшь, как София Гитару!..³⁸ Хорошо зовут!.. Баранесса!!! До чего ж ты у меня вся кругляшук. Сдобная... Как баранка! Так бы ел, ел, ел без перерыва на завтрак, на обед и даже на ужин...

— А ты, малышок, ешь. Не стесняйся... В рост успел выскочить, а вширку не дали разбежаться. Куда только и смотрела Софья Власьева?!³⁹ Совсем же заездили чёрного коммунарика...⁴⁰

Такой весь худышка... Будто на тебе там пахали по сорок часов в сутки...

— Всяко бывало! — уклончиво пустил Колёка. — Крутился на одной пятке... А благодарность? За всю жизнь и разу не дали даже тэтчеровского⁴¹ завтрака! Вечно сидел на бухенвальдском паёчке...⁴²

— Люлечка! Глубоко наплюй и забудь. Кончилась твоя каторжанция! Отныне и кофеишко, и оскорбительную кислоту, то есть витаминчик С и протчее мясце будешь получать у меня прямо в кроватку! В конце концов, ты в Ялте. Курортяра ого-го! Тут все отдыхают! И ты как все... Отдыхай круглосуточно и круглогодично. Только не забывкитай, пролетарский болтик, про свои сладкие обязанности... Скоро и ты у меня выкрулишься, как я... На душе, малышок, рай... Я в отпаде... Воистину, замужня лягушка и море переплывёт!

Сиропное плетение словес ложилось на душу Колёкину подорожником.

Желая набавить себе значительности, он мягко и вместе с тем строго, почти клятвенно возгласил:

— А работать я буду, крокодил меня без соли съешь! Не собираюсь я тут торговать загаром на пляже... Я уже ломом ломлю. Мысленно! И в таком русле... Надо нам ухорошить обряд разлучения квартирантов с тити-мити. Надо сделать его изячным, напористым, утончённым. Этаким молниеносным фейерверком! Ты, Капушка, не обижайся... Ты ввела в абсолют... Ждёшь, пока тебе сами поднесут. А разве вымерзли забывчивые? Вон вчерашняя пьянь кудрявая... Лихо подколола! И пойдешь пожалуйся... Сначала найди их. А где искать? Ка-ак искать? Я вношу ращпредложение. Уговорились: в час заезда манюшки на бочку! Все! По час отвала. И ты спокойна... Для полной красочности обряда в нём пока не хватает меня. В тот момент, как ты запеваешь о тугриках, я, этакий ковбойка... этакий супергагантик весь в коже... весь на кнопках, на молниях, на заклёпках... в шляпэ с загнутыми полями, подкапываюсь небрежной, слегка развинченной походочкой, становлюсь позадь тебя, опускаю лицо к твоей русявой головушке и счастливо так провозглашаю: «Вас приветствует солнцеликая Ялта!» Потрясная картиночка!.. Вряд ли у кого качнётся гнилая мыслуха не выдать тебе сразу всё

под полный расчётишко. А отдавши, может и не залетать на ночь. Это нас не колышет. Платить оно всегда как-то неинтересно. Убыточно. Вон бабайка что молотит: «У моей у товарки дочка в Москве. Однокомнатная квартира. Плотью государству всего ничего. А Капка с меня с Алёнушкой — одну койку занимали у сарае, тепере в прихожалке тож мнём одну, — а Капка за одну ночку лупя с нас, лихоманка тя подхвати, те жа деньжонки, что в Москве за целной месячок!! Тут за ночь, а там за месячок!!! Так то ж Москва! Учти!»

— Оха-оха-оха! — набутусила Капа губы. — Мы про людей говорим, а они ночью про нас не спят... Ну и везла б свою астму в Москву. А то что-то припёрла сюда. Всё с неё толсто берут... Конечно, в дорогу на тот свет пиастры тоже нужны... Всё! Я эту бабку с внучкой сегодня же выстегну из своих хоромов!

— Ну-ну! Зачем же так крутко? — спохватился Колёка.

— Пускай не таскает про меня грязь по двору. Пускай найшет себе бесплатную квартиришу! Всё! Бабкин вопрос закрыт. Завтра её тут не будет! И больше об этой бабке ни звучика! — властно пристукнула Капа ладошкой по столу. — Вернёмся к своим бараньим делам...

— Капуль! Да ты что? И старуху жалко, и внучку... Потерпи, милушка... Я больше тебя ни о чём не буду просить... А тут сжался, радость ты моя всепланетная...

— Ну, разве что ради тебя... Ладноть. Пусть пожуют ещё моей доброты. Потерплю какие тут две недельки... Вернёмся к своим колючкам... Ты, малышок, безразговорочно прав. Обряд надо срочно менять. Хватит ронять угольки себе на ноги.

21

Целыми днями Колёка прел на кухне.

Нет, не ел он целыми днями. Целыми днями валялся он на кушетке под телевизором. Воистину, «хорошие мужики на дороге не валяются, они валяются на диване».

Смотреть телевизор стало для него обязательным, как работа. Если вы приходите к себе в должность, скажем, к девяти, то у Колёки она начинается на два часа раньше и без выходных. К семи он уже выбрит, умыт, торжественно сыт.

Включает, ёрш держит вперёд⁴³.

И только взаполночь подчинится грозно мигающему из самой из Москвы приказу: «Не забудьте выключить телевизор!» Выключит уж. Сделает одолжение.

По двору прошелестел слушок, что Колёка помешался на телевизоре.

Все почему-то считают телевизор бездельем, в стаж в трудовой не вписывают. Это, думает Колёка, полнейшее безобразия. Ну ведь сказано же: «Если зажигают звезды, значит, это кому-то нужно».

Тянем параллель.

Раз по телевизору вам показывает сама Москва, значит, это тоже кому-то нужно? Нужно! Обязательно нужно! А как же?!

Иначе что же будет, кинься все врассып кто куда по так называемым работёнкам, а к телику к семи ноль-ноль никто ни ногой?

А на что ж тогда старается-показывает сама Москва? Для кого бьётся? Неужели это никому не нужно?

Выходит, Москва не знает, что делает?

Звёзды зажигать надо. А святое слово Москвы слушать не надо?

Концы с концами не состыкуются...

А вдруг там что-нибудь да такое? И ни одна холера не знает!

Колёка жертвенно смотрит за всех от и до. Пока из самой из Москвы не прикажут отключиться.

И из всех этих смотрин он вылавливает себе порядочную пользу.

Не давится в автобусе.

Не занимает где-то чьё-то место. Может быть, именно ваше.

Вам на вашей работе платят, а Колёка корячится на кушетке безвозмездно. Как это со счёта столкнёшь?

Да, работёшка тягостная, утомительная, на полный износ. Даже порой некогда сбегать сменить воду в аквариуме.⁴⁴

Но он не бросит такую работу, будет продолжать вкалывать, как сто китайцев. Он злой патриот своего теледела.

И сам по себе разговор о любом прочем занятии он считает просто надуманным, непристойным.

Его раздражало, что в ряду кухонек одну

комнатку, крайнюю, оккупировало бюро по трудоустройству.

Народище волнами хлещет туда-сюда, туда-сюда.

Ну, чего шлѐндать? Сиди дома, смотри, припнись к делу. Так нет, им прижгло в бюро бежать.

Въехал он в каприз, по ночам вывешивал у входа во двор объявление «Бюро переехало» и гнал-показывал стрелкой в сторону моря.

Однако народ всё равно валил именно сюда, валил, валил.

Смирился Колѐка с этими толпами во дворе. И всё ж он этим бродягам подсолил. Не мешай спокойно смотреть! Сбегал в телеперерыв в гравировальню, вернулся с роскошной дощечкой

КАФЕ ЗАКРЫТО.

ИЗВИНИТЕ, У НАС УЧѐТ

Навесил на двери уборной, и народишко, что подлетал к ней, ещё сильнее зажимал кулаком в себе горячую точку и мелкой, извинительной рысцой потешно перебежал в соседний двор.

Иногда днём, опять в телеперерыв, Колѐка утягивался в город подвитаминиться. Рвал инжиры, что свисали на тротуары из-за оград.

Ему нравились подвяленные, сомлелые на солнце инжиры. Любопытная кадрили: пока плод зелёный, он стоит на веточке прямо, как свеча, а созреет — свисает набок, вянет и всё больше напоминает уполовиненный бурдючок с вином.

22

Шедрое южное лето отпылало. Сонно, незаметно слилось и пол-осени.

Ушло тёплое солнце. Разъехались отдыхающие. Городок как-то ужался. Посмирнел. Попритих.

Наконец-то Колѐка с Капой перекочевали из-под кухонной крыши в дом, в свою единственную комнатку. Казалось, радуйся-цвети, ан на?!

Поймала воробушка, забеременела Капа. Засобиралась в больницу.

— На разминирование⁴⁵ отбываешь, — затужил Колѐка. — Тебе-то там помереть не дадут. Накормят. А я как? Подыхай?

— Не паникуй, неумейка. Не переживай. Я написала тебе, уютжок, из заморья первоклассную

повариху. Сегодня вечером к тебе припожалует чудненькая девочка Ласка. Пятнадцать лет... Здоровски готовит...

— Это действительно чудненько... — обрадовался. — Только имя какое-то... Не нашенец.

— Понятно, не твоё. Болгарское... Ласка... Что ж странного? Вот отца моего звали — натошак не выговоришь! Родился вскоре после революции. Время энтузиазма. В чести были Вилен, Виленин, Вилор, Ким... Мой — Гоэлро... Капитолина Гоэлровна Пышненко. Эту свою девичью фамилию в замужестве я не меняла. Вся жизнь я Пышненко. Звучит?

Колѐка умученно улыбнулся. Вместо ответа спросил другое:

— Дня три прокантуешься в больнице?

— Не больше.

— Не залѐживайся там... И у кого ты на этот срок арендовала эту приходящую нянечку Ласку?

— У себя... Моя дочка...

Колѐка отшатнулся.

— Дочка?! Не надувай уши ветром... И ни разу не сказала?

— А что говорить, когда нечего говорить? — деловито говорила Капа. — У меня их двое аж... Родик в Таганроге... В техникуме... Мальчуга с задачей...⁴⁶ Лето отжѐг у друга в деревне. Из деревни снова катнулся в техникум... Ласка здесь. В училище. Старательная, как пчѐлка... Живѐт у тѐтки. Тѐтка не сдаѐт углы. У неё посвободней. Там и толкѐтся в трудах лето-осень...

— Ребятѐжь-то папаньку знает? — озаботился Колѐка.

— Ой, спросишь... Знала б хоть маманька! — в смешке отстегнула Капа и покатила с наговором на себя: — Этих бездомных купоросных активистов навродь тебя эсколь за сезонишко проскакивает?.. Ты ему угол за трояк на ночь, а он тебе целое дитятко навеки... Ой, дурѐка, болтай! Разводи хлѐбово боле... Чего под случай не наплетѐшь на себя и под себя... Ну, наварила чепухи на постном масле! Хватя... А то понравилась игрушка — бить лбом орехи... — Капа помолчала, вздохнула. — А девулька у меня серьёзная. Не набалованная. Вся в отца... в Менделейку...

— Слушай! — вспомнил, что хотел спросить, Колѐка. — А как ты со своими Лаской да Топой очутилась в Ялте?

— Ну-у... Случай подвёз! Ухохочешься. Как-нибудь под момент расскажу. Но не сейчас... Слушай про Ласку. Это важнее... Девочка не набалованная. Не на что, да и некогда было баловать. Откровенно, Ласка не знала детства. Жила больше на воде... Единственная игрушка у неё была связка бигудей, всегда полная моих волос... А вот выросла. Учится, работает... Дожила б до возраста. До взрослого ума без беды... Каюсь, прятала от тебя... От бомбардира... А вот по горячей нужде оставляю вас двоих под одной крышей... Оха... Ты от беды ворота на запор, а беда через забор... Не обидь... Будь человеком. У тебя у самого дочки... Понимай... Я мать... Учую, если что... Ну, заглянул ты в моё лукошко⁴⁷, всю теперь меня знаешь, как свою руку... Смотри... если что... Не знаю, что и сделаю с тобой... Не обидь, малышок...

Капа показала Колёке фотокарточку дочери.

— А я думаю, — грустно сказал Колёка, возвращая карточку, — как бы она не обидела меня самого.

— Это как? Туману подпускаешь.

— Это я и себе не объясню...

Колёка боялся этой девочки. Боялся её молодости, свежести. Боялся её радостной неотразимости. Он не мог понять, почему он стал её бояться, едва увидев её фотографию. Он ещё не видел Ласку вживе. Но уже боялся и ничего не мог с собой поделать.

Проводил он Капу до больницы и тут же вернулся.

Синяя дверь их кухни была до пятки открыта. Он вошёл.

Увидел её — она чистила картошку — и понял, чего он так боялся. Она была так красива, что он замер с широко раскрытыми не то страхом, не то изумлением глазами.

— Что вы так смотрите, дядь Коль? — просто-душно спросила она. — Глазики не выроните?

У него хватило сил заставить себя насупиться. Он подрубленно сел на кушетку.

— А-а! Вам ску-ушно! — весело сыпнула Ласка. — Ну, тогда развейтесь. Гляньте...

Ласка показала на газету, которая лежала возле Колёки на кушетке. Он развернул газету. Брошюрка.

— «Профилактика стресса свиней при их перегруппировках и перемещениях», — еле прожевал он название брошюрки, и мрачность его несколько убыла. — Интере-есенько... А автор кто?

— Эм Луговой. Вот же на обложке! А гляньте, что стоит в скобках на последней страничке.

Колёка перекинулся в конец.

— Хэх!.. Луговой — псевдонимко. А настоящее имячко в скобочках уморное... Ферштейн Мойше-Дувид Иойнов-Янкель Мисаилович!.. Мне картошки дашь добавку. Не евши прочитай! Последнюю положил силу на что... Тэкс... кэкс... Тебе что, хрюшкины стрессы по ночам пятки щекочут и спатушки не дают?

— Да ну!.. Эти стрессы мне в нагрузку пихнули... Бегу по команде к вам. На лотке моя мечта. «Легенды Крыма»! На литкружке мне докладывать о крымских легендах и на! Лежат!

Колёка раскрыл книжку легенд.

— На восемнадцатой «Как возникла Ялта». На ша Ялта! Прочитайте.

Колёка послушно пролистнул несколько страниц.

«В далекие времена, — читал он, — из Константинополя, столицы Византийской империи, отправилось несколько кораблей на поиски новых плодородных земель. Нелёгким было плавание, потому что штормами и бурями встретил мореплавателей Понт Аксинский — Чёрное море. Но не стало людям легче и тогда, когда утихла буря. На волны опустился густой туман, он закрыл и горизонт, и море...»

Колёка не заметил, как он поверх книжки оцепенело уставился на Ласку.

Она смешалась. Но ничего не сказала. Спросила одними глазами: «Что вы смотрите так, будто голодный кот встретил мышку?»

«А как прикажете смотреть голодному коту, когда мышка сама прэлезь? — спросил он тоже одними глазами.

«Мне кажется, в вас есть какая-то тайна...»

«Мне тоже так кажется... Человек без тайны беднее, чем без имущества. Я вижу, вы умница. Это не порок. Даже красавице, такой ягодной хорошке, как вы, ум не помеха... Давайте не ссориться. Влюблённым ссориться всё равно что резать воду ножом».

«А вы не злообидчик?» — опасливо смотрела она.

«Любовью не обижают... Любовью возвышают... У меня доброе сердце. Большое. Как у кита... А потом... А потом, и птица, летая, теряет перья...»

Разговор глаз напугал Ласку. Она торопливо спросила вслух первое, что упало на ум:

— А... А чем отличается поэзия от прозы?

Заикаясь, чего никогда не было с Колёкой, стал он объяснять, тронутый сумятицей её души:

— Ка-ак ч-чем?... Поэзию пишут в столбик...

А прозу — во всю строчку, пока строчка не кончится. Ну-у вот примеры...

*Мороз и солнце,
День чудесный.*

Это поэзия. Пушкин. А вот: «День был морозный и солнечный».

Это уже проза... Симонов... Прозка жизни...

— Дя-ядь! — начала Ласка. — Как вы...

— Кактус тебе в карман! — перебил Колёка. — Да не надо ж пока аплодисментов! Я ещё не всё сказал... Тут вот вывернулась ламбада позанозистей... Была у члена КПСС и верного ленинügyi Маяковского чужемужня грелка во весь рост... А у этой грелки было за всю жизнь четыре мужа, и она под конец дней своих гордо несла такую шелуху: «Я всегда любила одного — одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю»... Я не «про всю Одессу». Я только про первую двойку... Одномандатники⁴⁸ Брик и Маяковский в поте лица кувыркались в золотом тепловатом болотце одной этой горячей, любвезадиристой мочалки по имени Лиля Брик.

Тоскливая прозушка. И вот некто... Фамилька выбежала из башни и забыла вернуться. Так вот он только из имени и фамилии сваял целую шедеврину:

«лиля,
брик!»

Всего-то и горячих трудов! Имя и фамилию сочинялка по лени и экономности написал маленькими буквушками да обронил, наверно по нечаянке, между ними запятую, и — получите классику с восклицательным знаком на конце! Расшибец!

Что значит одарённый товарищ гражданин.

Кинул запятую и восклицательный — уже поэт!

— Дя-ядь!.. — опять позвала Ласка. — Как вы...

— Да отшнурись! — отмахнулся в запале тот.

— Опять же сбила! Ну иди ты пустыню пылесосить!!! Я ж ещё не кончил свою мысль... Гм... Вообще, стихоблуды — приличные мазурики. Друг дружку безбожно бомбят...⁴⁹ Как-то на культурном досуге я под ручку с мухой нечаянно забрёл с подплясом в библиотеку... И на такое напоролся! Оказывается, пушкинский стишок про памятник — чистая перепевка оды Горация. Был такой в глубочайшей древности дорогой товарищ поэт Гораций!

Сравним. Построчно.

Первая строчка у товарища Горация:

«Воздвиг я памятник вечнее меди прочной...»

И у Пушкина первая строчулька:

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»

Пятая и шестая строчки у дорогого товарища Горация:

*«Нет, я не весь умру, и жизни лучшей долей
Избегну похорон...»*

Пятая и шестая строчки у Пушкина:

*«Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживёт и тленья убежит...»*

Ну? Так кто у кого слямзил? Дорогой товарищ Гораций не мог. Потому как отбросил кегли за тыщу восемьсот семь лет до рождения Пушкина... И что ж в балансе? Дядь Саша Пушкин просто перевёл чужой стишок. Ну и подпишись под стишком как переводчик. Так нет! Он великодушно оставил нам звонкое высказывание «Переводчики — почтовые лошади просвещения». Да сам почтовой лошадию не пожелал становиться. Быть автором стиха престижней!

— Оно, конечно... — замялась Ласка.

— Уже который век у нас на всех углах гордо квакают: «Пушкин — наше всё!»

Какие ж мы нищоброды, если наше всё — всего-то лишь один-единственный поэт, пускай даже и Пушкин. Нет! Нет!! И нет!!! Нам одного поэта на такую громадную державу мало. Наше всё — это Толстой, Достоевский, Шолохов, Лермонтов, Кольцов, конечно же, Пушкин и... и... и... и... и... и... и... Вот наше всё!

— Дя-ядь... — опять затынула Ласка.

— Погодь! — Колёку не унять. — Я тут ещё вспомнил про Пушкина. Как он жестоко реза-

нул Радищева, его «Путешествие из Петербурга в Москву»...⁵⁰ Я абсолютно не согласен с критикой Пушкина! Ни за что так выполоскать! Видите, у Радищева варварский слог! Для Пушкина язык простого народа — варварство. Конечно, приплясывая на царских балах, он слышал другую, вымороченную речь с французскими коленцами. Простой же люд говорит так, как говорит. И этот простой люд Пушкин видел только из кибитки. Оттого-то у Пушкина герои говорят на безликом, поролюновом языке! В рассказе Радищева о несчастье народа Пушкин увидел только пошлость. Это в какие-нибудь рамки лезет?..

— Дя-ядь! — в восхищении сложила руки крестом у себя на груди шевелилка. — Ка-ак же вы всё это чётко!.. Вас бы к нам в литкружок... Вы такой большой... Вот бы вам и в баскет... А то что я?.. Где ж такие Добрыни Никитичи да Ули⁵¹ растут?

— В деревне. У мамки на печке.

Разговор обломился.

С усилием Колёка угнул голову в книгу и стал читать вслух:

«Много дней блуждали в неизвестности моряки. На судах уже кончилась пресная вода и пища. Люди, ослабевшие и утомлённые, пали духом и покорно ждали гибели.»

Но однажды ранним утром подул лёгкий спасительный ветерок. Молочная пелена тумана заколебалась и медленно начала расплываться. Сверкающие солнечные лучи ударили в глаза людям, и они увидели зелёно-лиловые горы.

— Ялос! Ялос! — закричал дозорный.

То была прекрасная Таврида, сказочная страна, где не бывает зимы, где воздух, наполненный морской влагой и ароматом трав, лёгок и целебен.

Уставшие путешественники воспрянули духом, налегли на вёсла и направили свои корабли к манящему берегу.

На благодатной земле по соседству с местными жителями они основали своё поселение, которое и назвали столь дорогим для себя словом ялос, что означает по-гречески берег.

С тех пор, говорят, город и называется Ялтой».

Легенду про Ялту Колёка кое-как дохлопал по диагонали и снова наставил волчьих глазищи на Ласку.

Она чистила картошку и вмельк наблюдала, как с неё не спускают голодных шарёнок. Гордость нарастала у неё на сердце.

И Колёка чуже ухнул:

— Вот что, вертушок... Приготовь там чего на денёшек и марш отсюда назад под тёткин досмотр!

Ласка смертно обиделась, что приняли её за малявочку, повернула всё в каприз:

— Фикушки вам! Я противна, да? Так в пику вам никаких тётушек! Знайте, я там уже откреплена... Снята с тетушкиного контроля и довольства!..

— Детонька... — покаянно забормотал Колёка. — Христом-Богом прошу... Уходи... Линяй с горизонта. От греха надальше...

Колёка больше не стал с нею говорить.

Молчал перед телевизором, ждал, пока жарилась картошка.

Молчал, пока ели тут же на кухне без света уже под потёмочками.

— Одначе картошка у дочки вкуснее против маманькиной, — сожалеюще отметил он и грустно подпёр щеку.

— Спасибочки! Чого ше? — шутиливо кинула Ласка.

— Молодца! Хорошо жарить, хозяйюшка! — подхвалил Колёка и на раздумах пропел: — Чи гепнусь я, дрючком продертий, Чи мимо прошпандорэ він?⁵² — затем резко сменил тон: — Тебе спасибо, — сухо проговорил. — Уходи.

Ласка скруглила глазки:

— А кто будет вам готовить?

— Сам, — рубанул он.

И она обиженная ушла.

Колёка легко вздохнул, что всё так крутнулось. Слава богу!

Подальше от Ласки, пока не грянула беда... Да и от Капитолины не пора ли отчалить к своим дочкам, к Татке?.. Почудил и хватит. Бежать, бежать из Ялты! Но не вдруг.

Он помнил наказ мудреца, вычитал в книжке: «Ничего не начинай в гневе. Глуп тот, кто

во время бури садится на корабль». И он не сядет. Побережётся. А потому в обстоятельности принялся обдумывать, как отбыть из Ялты истиха. Без шума.

Во вчера убегают деньки.

Кажется, Капитолина с Колёкой внешне довольны друг другом. Веселы. Беззаботны.

Капитолина ещё круче покруглела и уже не влазит в свою дверь.

— А как же ты всё-такиходишь в дом? — спрашивают её.

— Бочком и на глубоком выдохе! — хохочет Капитолина.

Колёка всё чаще задумывается в растерянности над тем, что пора бы уже и вернуться к своим в деревню.

В его обязанности входит лишь эффектное присутствие при обряде разлучения квартирантов с деньжонками. В нужный момент он, весь в коже, весь на кнопках, на молниях, на застёжках, в сомбреро, в дорогих импортных джинсах, в лаковых туфельках на аршинных каблучищах вштычивается в комнату этакой небрежно-ленивой раскормленной горюшкой, становится позади Капитолины, масляно клонит лицо к её голове и привычно бодро восклицает:

— Вас приветствует солнцеликая Ялта!

Все улыбаются. И шелестухи в полном составе как-то сами собой быстро и легко перескакивают в новые руки. Чистенькие. Сытые. В холе. И не было случая, чтоб Капитолина недополучила хоть грошик.

24

И всё ж таки проблеснул день, когда Колёка вернулся-таки в деревню. К своим.

В истомном роздыхе привалился он к тёплой своей калитке и побито долго смотрел, как Татьяна с дочками споро обирали на солнцегоге в садке рясную смородину.

«Все в деле, один я в наблюдателях от ООН...»

Колёку не замечали. Это-то и подпекло его.

Он вскинул вождисто в приветствии руку. И крикнул:

— Милые дамы!.. Дорогуши! Вас приветствует солнцеликая Ялта!

Но никто из тройцы и не шелохнулся. Не по-

вернул к нему даже лица. За работой в дальнем углу садка его не услышали. Он медленно открыл калитку и как-то бочком, в нерешительности протиснулся в неё и на вздохе виновато побрёл в глубь своего сада.

Примечания автора

¹ Гусайа (*японское*) — дура. Так обычно в Японии муж зовёт жену, а она его всегда — господином.

² Гулькяй — лодырь.

³ Хлестаться в десну — целоваться.

⁴ Волоча — человек, шатающийся без дела.

⁵ А. П. Чехов назвал Ялту тёплой Сибирью.

⁶ Большой — солист группы «Modern Talking» Дитер Болен.

⁷ Бонза — представитель номенклатуры КПСС.

⁸ На собак лаять — бездельничать.

⁹ Валторна — зад.

¹⁰ Из-под лапки посмотреть — очень красивая.

¹¹ Ворчея — собака.

¹² Бомбила — бродяга.

¹³ Болтуха — караульщик.

¹⁴ Лимонард — миллиард.

¹⁵ Гриша (*гривенник*) — десять копеек.

¹⁶ Отправить к верхним людям — убить.

¹⁷ Тянуться вожжой — идти друг за другом.

¹⁸ Ни пены, ни пузыря — бесследно исчез, пропал.

¹⁹ ОТС — одна тётка сказала; разновидность колодезного радио.

²⁰ В небо убиться — вырасти очень высоким.

²¹ Рабфак трудящихся — тюрьма.

²² Бампер — зад.

²³ Дворянка — дворяжка.

²⁴ Губу кверху задрать — лодырничать.

²⁵ Мавзолей — винный магазин.

²⁶ Пирожок с молитвой — пирог без начинки.

²⁷ Луи Пастер (1822—1895) — французский учёный, основоположник современной микробиологии. Впервые обнаружил, что женская слеза убивает многие бактерии.

²⁸ Речь о московской клинической психиатрической больнице №1 им. Н. А. Алексеева. В народе её называют Кашенко, потому что Пётр Кашенко был главным врачом этой больницы. Телефон для желающих 952-88-33.

29 Аквариум — помещение для задержанных в милиции.

30 Съездить в Бухару — напиться до пьяного состояния.

31 ОРЗ — очень резко завязал.

32 Погасить фары — закрыть глаза.

33 Ослики — деньги.

34 Двубровый орёл — Л. И. Брежнев.

35 Орехи звенят — о сильном сексуальном возбуждении.

36 Кровельные работы — психиатрическое лечение.

37 Чимчигрыз — китаец.

38 Софья Гитару — певица София Ротару.

39 Софья Власьевна — советская власть.

40 Чёрный коммунар — колхозник.

41 Тэтчер Маргарет Хилда (1925 — 2013) — премьер-министр Великобритании. Её завтрак обычно состоял из одной чашечки кофе и одной таблетки витамина С. (Факт упоминается в книге: Тэтчер Маргарет, Рейган Рональд. Англосаксонская мировая империя. М.: Алгоритм, 2014.)

42 Бухенвальдский паёк — о скудном питании.

43 Ёрш держать вперёд — важничать, зазнаваться.

44 Сменить воду в аквариуме — помочиться.

45 Разминирование — аборт.

46 С задачей — хитрый.

47 Заглянуть в лукошко — узнать о ком-либо самое сокровенное.

48 Одномандатники — мужчины, сожительствующие с одной женщиной.

49 Бомбить — грабить.

50 А. Пушкин писал о книге А. Радищева: «Путешествие в Москву», причина его несчастья и славы, есть, как уже мы сказали, очень посредственное произведение, не говоря уже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и прочие преувеличены и пошлы. Порывы чувствительности, жеманной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. Мы бы могли подтвердить суждение наше множеством выписок. Но читателю стоит открыть его книгу наудачу, чтоб удостовериться в истине нами сказанного».

51 Имеется в виду известная советская баскетболистка Ульяна Семёнова.

52 Вольный перевод из пушкинского «Евгения Онегина»:

*Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она?*

Анатолий Никифорович САНЖАРОВСКИЙ
родился в 1938 году в селе Ковда на Кольском полуострове.
Журналист по профессии. Прозаик, переводчик.
Первая публикация как прозаика состоялась в 1978 году.
Автор книг «Красное коромысло через реку повисло» (1981, 1983),
«От чистого сердца» (1985), «Оренбургский платок» (2009, 2012),
«В Киеве не женись!» (2012), «Жена напрокат» (2012),
«Русиния» (2013), «Сибирская роза» (2016) и др.,
в том числе 16-томного собрания сочинений.
Роман «Оренбургский платок», высоко оценённый
Виктором Астафьевым, вышел в переводах на хинди и болгарский.
Член Союза писателей Москвы.
Живёт в Москве.

